

[Polaris]

Карл Ганеман



МЕРТВЫЙ
ПАЛЕЦ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CXVIII



Salamandra P.V.V.

**Карл
Ганеман**

МЕРТВЫЙ ПАЛЕЦ

Уголовный
роман

Salamandra P.V.V.

Ганеман К.

Мертвый палец: Уголовный роман. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 100 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CXVIII).

В канун великого поста совершено чудовищное злодеяние: неизвестный преступник зверски убил престарелого часовых дел мастера, его красавицу-дочь и служанку. Подозрения падают на исчезнувшего сына убитого. Был ли он без памяти влюблен в собственную сестру?

Роман К. Ганемана «Мертвый палец» может показаться невероятным вымыслом, но это не так – книга документальна и основана на расследовании кровавого преступления, которое потрясло Авиньон в 1768 году.

МЕРТВЫЙ ПАЛЕЦЪ.

УГОЛОВНЫЙ РОМАНЪ

КАРЛА ГАНЕМАНА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Е. Ендоникова. Б. Итальянская, № 11.

1888.

МЕРТВЫЙ ПАЛЕЦ

I

— Ну, кажется, в этом доме не очень-то любят рано вставать! Стою я целых десять минут, а никто не выйдет отворить; это, право, досадно.

— Вы ошибаетесь, господин Дюбур. Минсы очень прилежные люди и вовсе не сони. Они просто не слыхали вашего стука.

— Да, черт возьми. Я так сильно стучал в дверь молотком, что весь дом дрожал. Вот послушайте!

С этими словами говоривший, красивый молодой человек лет около двадцати трех или четырех, схватил висевший у двери молоток и изо всей силы ударил им три или четыре раза в дверной косяк.

— Черт, что ли, в вас сидит, Дюбур?! Вы меня оглушили своим стуком! — воскликнул другой мужчина лет за пятьдесят, затыкая себе уши.

Дюбур громко засмеялся.

— Я только хотел доказать вам, что моего стука трудно не слышать, — отвечал он. — Да разве у вас такие слабые нервы, мастер Альмарик? Тогда я ото всей души жалею, что немного пощекотал ваши уши! Вы такой здоровенный столяр, что, кажется, должны быть привычны к такого рода вещам.

— Разумеется, привык, — сердито отвечал Альмарик, задетый насмешливым тоном своего собеседника, — но если это шалости, то тогда ко мне лучше не подступайся.

— Ну, ну, — сказал молодой человек примирительным тоном, — зачем принимать сейчас же в дурную сторону дватри слова, сказанных в шутку. Я пришел сюда не затем, чтобы дурачиться.

Столяр пожал плечами и сейчас же ответил:

— Вам лучше знать, затем вы сюда пришли. Мне мало до этого дела.

— Разумеется! Я пришел сюда, чтобы переговорить с господином Минсом де Фонбарре об одном важном деле, и меня удивляет, что никто еще не поднялся с постели, а

уже семь часов.

— Зато вы сегодня, кажется, раненько поднялись, потому что, судя по вашему странному костюму, вы провели ночь в маскараде.

Говоря это, столяр насмешливо обозревал с головы до ног стоявшего перед ним молодого человека.

И в самом деле, на нем было странное одеяние. Он точно нарочно выбрал его, чтобы обратить на себя внимание. На нем был черный фрак, широкие турецкие шаровары и турецкий камзол; с правого плеча небрежно спускался в многочисленных складках плащ такой широкий, что в него можно было закутаться всему человеку; а кудрявую голову украшала или скорее безобразила калабрийская шляпа с какими-то шишками. Лицо было как-то расписано, и в то же время на лбу виднелись остатки пепла, посыпанного священником*.

— Вы отчасти правы, мастер Альмарик, — возразил Дюбур. — Я был на балу в «Золотой акуле», но исполнил и долг христианина.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил столяр.

— Только то, что я был и в церкви, — отвечал молодой человек.

— В церкви? — переспросил недоверчиво Альмарик. — Вы шутите?

— Совсем нет. Я был во францисканской церкви.

— И в этом одеянии?

— Разумеется. Почему же бы и не так? Разве вы не видите, что я надевал плащ?

Столяр неодобрительно покачал головой.

— Это кощунство, Дюбур, — сказал он серьезно. — Вам не следовало бы этого делать.

— Ну вот! — воскликнул молодой человек. — Для милосердного Бога все равно, в каком платье ни молятся; так, помнится, где-то сказано в священном писании. Я чувство-

* Действие происходит в Пепельную среду — начало Великого поста в западном христианстве. В этот день верующим с помощью освященного пепла наносится на лоб знак креста (*Здесь и далее прим. изд.*).

вал себя в таком именно настроении, чтобы быть у обедни, и не мог идти еще домой, чтобы переодеться.

— Но я не понимаю, как мог священник посыпать священным пеплом турка, — заметил Альмарик.

— Я же сказал вам, что я закутался в плащ и затем... аббат Сестили видел во мне только доброго христианина.

— Замолчите, насмешник! Хорош христианин, который проводит ночь на балу, ходит в маске и в турецких штанах! Христианин!

— Ба, что же делать? Когда молод — пожить хочется, да к тому же и масленица. Прошла масленица, наступил пост: мне и это на руку! Я говею и каюсь во грехах так же аккуратно, как поочередно перебивал на всех балах. Следовательно, нет никакой причины упрекать меня в безбожной жизни.

— Гм, вы так думаете? Посмотрим, какие-то вести вы принесете на пасхе, когда вы будете просить об отпущении грехов. Не думаю, что вести будут хорошие.

— О, на этот счет я совершенно спокоен! Мой духовный отец не особенно строг ко мне, да к тому же, мастер Альмарик, он сам поступает немного лучше меня. В прошлую ночь он был на одном балу вместе со мною...

— Что?! — перебил с удивлением молодого человека столяр, невольно попятившись на один шаг назад. — Вы хотите уверить, что аббат Сестили, этот на самом деле набожный священник, был...

— Был на балу! — перебил, смеясь, Дюбур. — Да, это верно. Я сам его видел и сам говорил с ним. И поэтому ни чуточки я не боюсь аббата! На грехи, которые за собою водятся, всегда смотришь сквозь пальцы. Но, черт возьми! Я заболтался с вами и совсем позабыл, зачем я пришел сюда. Возьмусь еще раз за молоток; авось кто-нибудь да выйдет отворить.

За словом последовало дело, и Дюбур с громом ударил в дверь дома, перед которым они оба стояли с Альмариком.

Но ответа не было, и внутри здания не слышно было ни малейшего шума.

Зато из нескольких окон противоположных домов высунулись головы соседей, поднятых с постелей необыкновенным стуком в такой еще ранний утренний час и желавших собственными глазами удостовериться в его причине.

— Эй, что там случилось? — крикнул в открытое окно один из соседей двум нашим знакомцам.

— Что за содом на первой неделе великого поста, да еще ни свет, ни заря! Это черт знает что! Нужно послать за полицией! — кричал другой.

— Я не виноват, что тут спят как колоды, — возразил с досадой Дюбур.

— Тогда нужно скромно дожидаться, пока люди соблаговолить отворить вам дверь, а не беспокоить других честных людей, — крикнул опять первый сосед и со звоном захлопнул окошко.

— Ну, вот, Дюбур, что вы наделали! — сказал Альмарик молодому человеку. — Вы всю улицу подняли на ноги. Ну, как можно заводить такой скандал!

— Ну, вот еще, — возразил тот сердито. — Долго ли же мне ждать, пока отворят? Сами знаете, что я здесь стою уже с полчаса. Не странно ли, что никто не отвечает?

— Ваша правда, я и сам удивляюсь, — согласился столяр, покачивая головой.

— Может быть, Минсы были эту ночь также на балу? Как вы думаете?

— Отчего же нет! Но они — и балы... что-то не вяжется! Сын еще туда-сюда, еще можно поверить, но отец и дочь? Они уж наверно нет, они люди набожные. Нет, нет, скорее солнце взойдет на западе вместо востока, чем мы доживем до этого.

— Гм, тогда я совсем не понимаю! Кстати, не пошли ли они в церковь?

— В церковь? Нет. Я живу против них, с рассветом принимаюсь за работу и должен был бы видеть, когда они вышли из дома.

— Странно, очень странно! — бормотал про себя Дюбур, делая вид, что он о чем-то раздумывает.

— Знаете, что я думаю, — начал снова Альмарик после минутного молчания.

— А что? — спросил Дюбур, вопросительно взглянув на своего товарища. — Что вы думаете?

— Они, должно быть, заболели; может быть, чем-нибудь объелись. Бывают иногда такие случаи.

— Заболели? И все разом? Это невероятно! — возразил молодой человек, скорчив сомнительную мину. — Нет, нет, я этого никак не могу вообразить себе. Из четырех кто-нибудь один да отвечал бы. Но вот мне приходит мысль, и это уж верно... Они, вероятно, отправились вчера в свою усадьбу.

Столяр иронически рассмеялся на эти слова своего собеседника.

— Что же тут смешного? — спросил этот последний, несколько обидевшись. — Разве мое предположение так невероятно?

— Ах да, пожалуйста, господин Дюбур, — заметил Альмарик, продолжая смеяться. — Зимой в усадьбу! И в девятнадцать градусов мороза, как во вчерашнюю ночь. С Минсами вы, пожалуй, более знакомы, чем я, и должны знать, что подобные предприятия не в их привычках.

— В этом отношении вы, пожалуй, и правы. А все-таки я считаю свое предположение верным, — отвечал решительным голосом Дюбур, — и докажу вам это. Мне пришел в голову разговор господина Минса, каких-нибудь дней восемь назад, что в среду великого поста он не останется здесь в Авиньоне, а отправится куда-нибудь в другое место, может быть, в Бертулоссу. Как вам известно, он враг маскарадов и всяких уличных торжеств, но особенно он ненавидит ряженых. С другой стороны, он очень любит охоту, так что, вероятно, его выманила из дома прекрасная погода.

— Если это так, как вы говорите — я спорить не стану — тогда они должны были бы уехать, когда вы разъезжали по городу в Аполлоновой колеснице, — ответил Альмарик. — Боже мой! вы опять пустились во все тяжкие, господин Дюбур! И откуда вы набрали такую кучу конфет, чтобы бросать их женщинам! Правду сказать, вы умеете весь свет

взбаламутить. Пока вас не было, город был точно мертвый, да и опять будет такой же.

— Доживете — увидите, что на будущий год не то еще будет! Не моя вина, если в «звучащем» городе, как наш Петрарка зовет Авиньон, тихо, как в могиле. Могу вас уверить! — воскликнул со смехом молодой человек.

— Верю, но это не к вашей чести, — произнес столяр тоном серьезнее прежнего, — напротив, вы только унижаете себя этим в глазах тех, кто к вам дружески расположен...

— В ваших, например, мастер Альмарик! — вставил Дюбур с насмешливой улыбкой.

— В моих? Ну, это еще не Бог знает что, а вот в глазах других особ, мнение которых насчет ваших глупостей для вас не может быть нипочем. Минс предан вам от души и возлагает на вас большие надежды; он часто говорил со мною о вас. И, наверно, им было бы очень больно видеть вас вчера на вашей колеснице. Ради него вам следовало бы немножко сдерживаться.

Дюбур разразился веселым хохотом.

— Вы умеете читать превосходные проповеди, мастер Альмарик, — возразил он насмешливо, — только жаль, что у вас не кафедра, а верстак. Но, все-таки, они сродни между собою, потому что сделаны из брусьев и досок.

— Это правда, — сухо отвечал столяр. — Но знаете, что еще сделано из брусьев и досок? — прибавил он, пристально глядя на насмешника.

— А что?

— Эшафот!

Это слово, сказанное спокойным и непринужденным тоном, произвело на молодого человека особенное действие, которое не ускользнуло от его собеседника.

Дюбур побледнел как мертвец, и по его телу пробежала легкая нервная дрожь. Только что бывшее перед тем насмешливое выражение на его лице мгновенно исчезло, в его чертах выразились смущение и мучительная тоска и, растерянный, испуганный, он уставился в землю.

Но это продолжалось вряд ли и секунду, и молодой человек снова овладел собой.

— Что с вами? — не мог не заметить Альмарик. — Вы страшно переменились в лице!

Дюбур сделал над собой большое усилие, его голос еще дрожал слегка, но он отвечал возможно непринужденно:

— Да? Вы находите? Да, вы правы.... кровь вдруг сильно прилила к сердцу, точно в наказание за мое высокомерие... Это со мной часто бывает, когда я распушусь.... этими припадками я страдал еще в детстве... я когда-нибудь умру от них.

— Следовательно, сердечная болезнь? — спросил столяр с легкой иронией. — Да, этим шутить нельзя; болезнь такой же неуловимый кредитор, как и совесть. Ну, надо полагать, что вы от этой болезни не умрете, по крайней мере не так-то скоро. Что же я, однако, за дурак! — прибавил он, смеясь. — Знаете, г. Дюбур, как я объяснил себе вашу внезапную бледность?

— А как? — спросил молодой человек, успевший тем временем совершенно справиться со своим волнением.

— Я подумал, что испугал вас словом «эшафот!» — отвечал Альмарик, снова уставившись на Дюбура.

Дюбур громко расхохотался. Но было заметно, что его смех был принужденный, точно так же, как и беззаботный тон, который он старался принять, возражая Альмарику:

— Ба, мне-то что до этого?! Мне нет ни малейших причин пугаться этого. Я до сих пор еще не заслужил наказания, не заслужу его и впредь. Наверно нет такого человека, который бы указал на какой-нибудь постыдный поступок с моей стороны.

— Гм! — насмешливо отозвался столяр.

— Что вы хотите сказать своим «гм», Альмарик?! — воскликнул молодой человек, разгораясь. — Может быть, вы намекаете на то, что я воровал, обманывал или делал что-нибудь подобное?

— Успокойтесь, молодой человек, — возразил спокойно Альмарик. — Кто же говорит об этом? Если нельзя за что похвалить вас, то только за то, о чем мы с вами за несколько минут перед тем говорили...

— Охотно признаюсь, что я немного легкомыслен, но за это ведь не сажают в тюрьму.

— Зачем же! Но ведь всем известно, что церковь воспрещает всякого рода удовольствия, которым вы предаетесь и которые ведут прямо в ад.

— Ну, вот еще! — воскликнул, смеясь, Дюбур, снова совершенно развеселившийся. — Молодым бываешь только раз в жизни и потому жизнью следует наслаждаться! Для чего же придуманы и посты, если не для того, чтобы после замаливать грехи? Итак, вы видите, мастер Альмарик, что на всякое зло есть и свое лекарство.

— Гм! Вы думаете, что для мамзель Юлии Минс все равно, если она узнает, что на вашей колеснице было много и женщин и Афродит, не похожих на Лукреций? * Вы знаете не хуже меня, как девственно чиста и невинна мамзель Юлия и как она богобоязненна. Вы откровенно сказали мне, что думаете жениться на этой прелестной девушке, поэтому вы должны вести себя осмотрительнее по отношению к ней и не выходить на сцену с женщинами двусмысленного поведения.

— Другими словами, ради своей невесты я должен поступить в какое-нибудь духовное братство?

— Хотя и не поступить в братство, но по крайней мере искать более приличных удовольствий.

— Вы отчасти правы, и я признаюсь, что вы меня окончательно выбили из седла своей проповедью, — сказал Дюбур таким тоном, в котором нельзя было разобрать, было ли это сказано серьезно или иронически. — Увидим, может быть, я и обращаюсь. Это тем вероятнее, что масленица, а с нею и все удовольствия кончаются. Но, несмотря на мороз, погода так хороша, что нельзя сидеть за печкой, да набожно ловить сверчков. Поэтому я воспользуюсь ею и отправ-

* Имеется в виду упомянутая у Тита Ливия римлянка, жившая около 500 г. д. н. э. и славившаяся своей красотой и добродетелью. Будучи изнасилована царским сыном, заколола себя, что привело к восстанию и установлению в Риме республики.

люсь в деревню. Минсы, наверно, в Воклюзе. К ним я и отправлюсь отобедать. До свидания, мастер Альмарик!

С этими словами он протянул столяру руку, которую тот крепко пожал, и скорыми шагами стал спускаться по улице.

Альмарик долго следил глазами за удаляющимся, пока тот не скрылся из вида.

Затем, взглянув еще раз на тот дом, перед которым он стоял и ставни которого все еще были закрыты, и он возвратился домой.

II

Авиньон, в настоящее время главный город Воклюзского департамента, ко времени нашего рассказа еще не вошел в состав французской монархии, а был папским владением*. Но в качестве собственности римского престола он приносил ему мало пользы или, вернее, никакой, потому что за все местные произведения, ввозившиеся во Францию, взималась непомерно высокая пошлина. Таким образом, Авиньон столько платил во французскую государственную казну, точно он принадлежал Франции. Доходов, которые получала курия от этого своего владения, хватало ровно на столько, чтобы содержать солдат и гражданских чиновников и поддерживать в сколько-нибудь надлежащем порядке городские общественные здания и улицы. Авиньон служил некогда резиденцией семи папам, а в настоящее время о прежнем его блеске осталось лишь печальное

* Авиньон, в XIV в. резиденция ряда пап (период «авиньонского пленения»), в 1348 г. был приобретен папой Климентом VI у королевы Неаполя и графиним Прованса Джованны I. В 1768-1774 г. город был оккупирован французскими войсками и «воссоединен» с Францией. В 1791 г. Авиньон был аннексирован Францией по решению революционного Национального учредительного собрания, что было окончательно закреплено Толентинским договором 1797 г.

воспоминание. Кровавые распри, разгоревшиеся между возникшими здесь духовными братствами белых, серых и черных покаянников, имели своим последствием глубокий упадок благосостояния города, ставшего скопищем всякого рода пороков. Во всех слоях населения обнаружилась не имевшая пределов нравственная распущенность, доходившая почти до одичания. И всем этим город был косвенным образом обязан римскому двору. Дошло наконец до того, что Авиньон снискал прозвище <Западного Вавилона>.

Самое худшее, последнее отребье со всей Франции находило здесь убежище; они составляли здесь сборища, чтобы затевать какие-нибудь гнусные дела или набирать себе товарищей.

Хотя с тех пор, как папский легат Винчентини поселился в Авиньоне, в течение двух лет до властей не доходило никаких сведений об убийстве или каком-нибудь ином преступлении, это нисколько не доказывало, чтобы в настоящее время в городе было безопаснее прежнего. За это время могло быть совершено немало преступлений, не доходивших до всеобщего сведения. Кроме того, в городе ходили неопределенные слухи о нового рода злодеях, получивших название «усыпителей», потому что, перед тем как ограбить, они имели обыкновение усыплять свою жертву каким-нибудь наркотическим средством. Но так как до сих пор факта совершения какого-нибудь подобного преступления доказать было нельзя, то «усыпители» считались вымыслом какого-нибудь досужего человека, придуманным для того, чтобы пугать боязливых людей. Напротив, граждане считали себя счастливыми под управлением Винчентини, державшего, по-видимому, бразды правления потуже своего предшественника.

Какова была религиозность обитателей Авиньона, благосклонный читатель мог судить по разговору, приведенному в предыдущей главе и происходившему 10 февраля 1768 года, в первый день великого поста. Люди, похожие по характеру на нашего героя, не составляли исключения. Дело дошло до той степени, когда не то что начинается неверие, а вообще иссякает вера.

Простившись со столяром Альмариком и дойдя до конца улицы, он направился на набережную, лежавшую у подножия городской стены, и перешел через жалкий деревянный мост, соединяющий берега Роны, на которой расположился Авиньон, по дороге к городку Вилльнёв.

Часа через полтора молодой человек дошел до деревни Воклюз, где находится воспетый Петраркой источник и где у Минса был хорошенький домик и небольшое имение.

Дюбуру не пришлось заявлять о своем приходе. Арендатор имения, который, вероятно, очень хорошо знал его, случайно оказался в примыкавшем к имению саду, увидел его и пошел к нему навстречу.

— С добрым утром, господин Дюбур! — закричал он издали. — Иной раз и вы жалуете к нам?

— Да, собственной персоной, — отвечал тот, смеясь и крепко пожимая протянутую ему руку.

— Ну, я очень рад! — отозвался приветливо арендатор. Как поживаете? Хорошо — надеюсь?

— Благодарю вас, господин Бале! Ну, а вы как? Что поделявает ваша дорогая семейка?

— Мы, слава Богу, наслаждаемся прекрасным здоровьем, только иногда меня ревматизм мучает. Но жена и ребенок, слава Богу, здоровы. Как поживает мой двоюродный братец?

— Ваш братец, господин Минс? — спросил Дюбур с притворным удивлением.

— Ну да, кто же еще... другого двоюродного брата у меня нет; вам это должно быть известно — ведь вы сватаетесь за мою племянницу.

— За тем-то я и пришел к вам, чтобы осведомиться о здоровье господина Минса, — сказал молодой человек с возрастающим удивлением.

— Вы пришли ко мне, в Воклюз... по этому поводу? — спросил Бале, удивленный в свою очередь.

— Ну да, да, — возразил Дюбур с некоторым нетерпением. — Где мне его найти? Дома ли он?

Арендатор смотрел на молодого человека совершенно озадаченный.

— Мой двоюродный брат? — спросил он снова.

— Да, да, господин Минс.

— Но я никак не могу вас понять, господин Дюбур, — сказал Бале; затем, осмотрев костюм посетителя, он, улыбаясь, прибавил:

— Я вижу, вы только что с маскарада, и во всяком случае все еще находитесь под его впечатлением; этим только и могу объяснить себе ваш странный вопрос о моем брате, проживающем, как вам небезызвестно, в городе.

— Господин Бале, — заговорил, по-видимому, раздраженный Дюбур, — ваше обращение становится оскорбительным! Может быть, вы считаете меня за пьяного потому только, что я осведомляюсь о здоровье вашего брата?

— Да я же вам говорю, что ничего не могу сказать вам на этот счет! — горячился арендатор.

— Следовательно, он не здесь?

— Нет, нет, я уже сказал вам, — отвечал Бале, принимавший своего посетителя в самом деле за человека подгулявшего.

— Так это иное дело, извините, — сказал Дюбур уже более мягким тоном. — Следовательно, господин Минс уже вернулся домой, и я по дороге, должно быть, проглядел его.

— Вы ошибаетесь, господин Дюбур, — возразил арендатор, по-видимому, только теперь начинавший понимать, что между ним и молодым человеком вышло какое-то недоразумение, — брат сегодня еще не был здесь.

Дюбур попятился в изумлении.

— Как?! — прервал он арендатора, как будто смутившись. — Что вы говорите?

— Я не видел его, пожалуй, месяца три, — добавил Бале.

— Месяца три! — повторил молодой человек, и на его лице отразилась сильнейшая тревога. — Ах, Боже мой! Вы меня пугаете, господин Бале!.. В таком случае... с господином Минсом случилось какое-нибудь несчастье!

— Как так? Несчастье? — спросил с удивлением арендатор.

— Должно быть, иначе и быть не может! О Боже мой, как это меня тревожит!

И Дюбур заходил взад и вперед, от холода или от внутреннего волнения — мы оставим этот вопрос без исследования.

— Но... объясните же мне, в чем дело! — сказал Бале, начавший беспокоиться насчет своего брата.

— Да вот, видите ли, — начал встревоженный молодой человек, — я... сегодня утром раз десять, если не больше, стучался в дверь к господину Минсу... мой стук возбудил даже внимание соседей и их неудовольствие... а между тем, никто из семьи вашего брата мне не отвечал.

— Это-то вас и беспокоит? — спросил арендатор, улыбаясь и, видимо, успокоенный, потому что ожидал услышать о каком-нибудь несчастье.

— Разумеется! Разве это не поразительно?

— Я не нахожу этого. Брат был с семьей, вероятно, у обедни.

— Это объяснение не совсем-то идет, потому что их сосед, столяр, не видал, чтобы кто-нибудь выходил из дома.

— Ну, так значит, они спят и не хотят впускать вас. Кажется, это понятно.

Но, по-видимому, это объяснение не могло успокоить Дюбура. Он мрачно смотрел перед собой и бормотал, как будто про себя:

— Не знаю, что об этом и думать; во мне возникают какие-то странные предчувствия... иначе и быть не может, с ними случилось какое-нибудь несчастье... Боже мой, я боюсь...

— Глупости! — прервал его Бале, качая головой. — И кому придет в голову что-нибудь подобное! Вашего стука могли и не слышать: ведь в доме двойные, чуть ли не тройные двери.

— Это невозможно! Нельзя было не слышать, если только... Я так стучал в дверь, что и мертвые проснулись бы. Положительно, ничего не понимаю; вернусь в город, нужно же добиться, в чем дело. Я в ужасной тревоге!

— Черт возьми! — воскликнул арендатор, улыбаясь. — Извините, Дюбур, но вы, право, точно малый ребенок. Вы беспокоитесь по пустякам! Я уже говорил вам, что брат, вероятно, пошел к обедне; он вышел с детьми задним ходом,

поэтому Альмарик и не мог его видеть. Им не хотелось с кем-нибудь встретиться и говорить. Во всяком случае, теперь они давно уже дома, и вы напрасно только тревожите себя и других мнимыми несчастьями. Таково мое мнение, а вы думайте себе, что хотите.

Молодой человек вздохнул свободнее, как-то невероятно быстро успокоился и почти весело сказал:

— Я вижу, в самом деле, что вы правы, Бале! В волнении я и не подумал, что могло быть и так. Вы меня убедили и успокоили. Прощайте, господин Бале!

С этими словами он хотел было расстаться с арендатором, но этот последний знаком удержал его.

— Куда же вы так спешите?

— Я уже говорил вам — в город.

— Неужто вы уйдете, не выпивши со мною и стаканчика?

— Благодарю вас, совсем не хочется. Нынешнюю ночь я довольно-таки попил, и под конец сделался немножко навеселе...

— Воображаю. Где же вы побывали?

— Да везде почти. Был на трех балах.

— На трех балах?! Ах ты, сделай одолжение! Вот что называется жить! — воскликнул, ухмыляясь, арендатор, всплеснув руками.

— Да, на трех балах. Сначала в «Синей Ящерице», потом в «Красной Звезде» и наконец в «Золотой Акуле». О, могу вас уверить, мы чудесно позабавились!

— Верю, верю! В ваши годы, да холостому только и забавляться; а потом уж конец! Станешь серьезнее, придут заботы...

И Бале глубоко вздохнул.

— И моей холостой жизни скоро конец, и его-то я хочу провести как следует. Сегодня в заключение станем хоронить масленицу.

— Что же, не худо! Вы всегда из первых, когда дело идет о том, чтобы повеселиться. Я уверен, что на балу вас скорее найдешь, чем в церкви.

Дюбур засмеялся.

— Кому что, — сказал он, — и все в свое время! Я сегодня подумался для того, чтобы завтра быть совсем умным. Ну, а вы как, господин Бале? Не чувствуете ни малейшего желания присутствовать при похоронах? Могу вам наперед сказать, что они выйдут великолепны, и вы, наверно, отлично позабавитесь.

— Не знаю, будет ли у меня время побывать в городе, — отвечал со вздохом Бале. — Постараюсь.

Оба собеседника пожали друг другу руки и расстались.

Арендатор вернулся домой, а Дюбур спокойно отправился обратно в город.

Перейдя мост длиной в четверть версты, этот последний пошел по другой, не по прежней дороге, которая на этот раз вела мимо прежнего папского дворца.

Горделивое, великолепное здание, в котором целые столетия перед тем пребывали высокие князья церкви (это время в насмешку названо «Вавилонским пленением пап»), в настоящее время превращенное в казармы, стоит близ Роны на высоком известковом утесе, а рядом с ним кафедральный собор с мавзолеем Иоанна XXII и простым, сравнительно бедным памятником прямодушного Венедикта XII. На самом конце выступа утеса был разбит сад в миниатюре, с дерновыми скамейками и беседками, в котором в летнее время обыкновенно отдыхал папский легат. Густая изгородь из козьего листа (*caprifolium*) и боярышника защищала его от любопытных взглядов. В настоящую пору и кусты, и деревья стояли без листьев, покрытые снегом, и сквозь ветви свистел резкий ветер.

В тот момент, когда Дюбур проходил мимо дворца, наружная дверь его отворилась и на улицу вышел хорошо одетый молодой человек.

При виде этого человека наш герой внезапно переменился в лице и точно прирос к земле, пораженный как громом.

— Боже мой, — пробормотал он. — Он самый! Неужели мертвые воскресают?

Незнакомец взглянул вскользь на Дюбура, однако, по видимому, не признал в нем знакомого человека, потому

что, не оглянувшись на него ни разу, он пошел скорыми шагами по улице и вскоре очутился уже в конце ее, тогда как Дюбур все еще не трогался со своего места.

— Если это действительно он, то я пропал, — продолжал Дюбур свой монолог, — тогда ничего не остается больше делать, как только возможно скорее убраться из города. Но тогда на меня падет подозрение, что я... Тише! — перебил он сам себя, боязливо озираясь, точно опасаясь, чтобы кто-нибудь его не подслушал. — Еще ничего не потеряно; посмотрим, куда он идет, и горе ему, если я встречу его в другой раз.

Дюбур говорил это, идя по улице, чуть не бегом, и повалил какую-то помешавшую ему старуху, ругавшую его вдогонку.

Однако ему не удалось догнать незнакомца. Правда, этот последний показался еще раз, но на одну секунду, и затем исчез за углом. И все старания Дюбура разглядеть незнакомца среди толпы, наполнявшей улицы, так как был полдень, остались тщетны.

— Проклятый случай, — говорил он сам с собою. — Я думал, что негодяй давно сгнил, а он опять попался на моей дороге! Во всяком случае, он меня не узнал, иначе его поразило бы мое появление. Хоть это отчасти утешает меня за испуг, испытанный мной от неожиданной встречи... За чем ему быть у легата? Черт его знает! Разве попытаться возвратить свое имущество и разыскать того, кто сделал у него самовольный заем! Ха, ха, ха! Ну, пусть подождет немножко!

Молодой человек громко засмеялся.

Во время своего монолога он дошел до своей улицы и был уже недалеко от своего дома, когда вдруг остановился и, приложив палец ко лбу, воскликнул:

— Право, хорошая мысль! Я сначала удостоверюсь, не обмануло ли меня случайное сходство, а это я разузнаю, где нужно, вернейшим образом. Итак — туда!

Он тотчас же вернулся по прежней дороге и вскоре очутился перед папским дворцом.

Здесь он попросил часового провести его к камердинеру легата, которому должен передать известие. Его просьба была исполнена.

— Почтеннейший, — обратился молодой человек к слуге, кладя ему в руку золотую монету, — дело об закладе, который вы можете помочь мне выиграть, сказав слова два.

— Это смотря по делу, — возразил камердинер, задобренный полученным вознаграждением. — Если то, что вы желаете от меня узнать, не будет против моих обязанностей, то...

— Не думаю, — перебил его, улыбаясь, Дюбур, повертывая в руках другую золотую монету. — Я желал бы только знать имена тех особ, которые сегодня имели честь представляться его преосвященству.

— Только-то? — спросил с удивлением камердинер.

— Только! Ну что же, можно узнать?

— Но для чего же, собственно, вам нужно знать?

— Я же говорил вам, любезный, что дело идет о закладе, который мне хочется выиграть.

Камердинер колебался, бросая жадные взгляды на золотую монету, все еще вертевшуюся в руках посетителя.

— Ну так как же? — спросил последний несколько нетерпеливо.

— Гм, это, собственно, служебная тайна. Если...

— Ну вот еще! Стоит ли затрудняться из-за каких-нибудь двух слов, — настаивал Дюбур, исполненный ожидания.

И вместе с тем золотая монета проскользнула в другие руки.

Это так подействовало, что у камердинера вдруг развязался язык и всякие сомнения исчезли.

— Хорошо... только для вас, — сказал он, хотя молодой человек был совершенно незнаком ему. — Кроме того, я надеюсь, что вы не станете говорить, от кого вы получили сведения...

— Клянусь вам, — перебил его нетерпеливо Дюбур. — Только, пожалуйста, поскорее!

— Так, сначала его преосвященство, господин архиепископ; потом господин аббат Сестили; а четверть часа тому

назад один неизвестный мне господин...

— Как его звать, как его фамилия?! — торопил Дюбур почти тревожным голосом.

— Погодите, пожалуйста, минутку... дайте сначала припомнить... какая-то странная фамилия... вспомнил — Вьендемор*.

Дюбур боялся вздохнуть, его сердце билось так сильно, что он почти слышал его биение, и его возбужденное состояние, доведенное до крайности медленностью камердинера, исчезло как по мановению волшебного жезла, и от радости, что он услышал не то имя, которого он так страшился, он довольно громко воскликнул:

— Слава Богу! Это... не он!

Камердинер глядел на него изумленно, испуганно; в эту минуту он в самом деле подумал, что он сделал что-то очень нехорошее.

Молодой человек, заметив свою ошибку и догадавшись о происходившей в душе камердинера тревоге, прибавил улыбаясь:

— Не бойтесь за себя, мой друг! Мои слова относились только к закладу, который я теперь выиграл. Примите мою искреннюю благодарность и... эту безделицу. Прощайте!

Попавшая в руки камердинера третья золотая монета до того обрадовала его, что он не мог не крикнуть вслед быстро удалявшемуся Дюбуру:

— Благодарю вас! Если вам понадобится еще узнать что-нибудь, то я к вашим услугам!

Но Дюбур ничего уже не слышал. Он выбежал из папского дворца, покрасневший от радости и с облегченным сердцем, и очутился на улице, даже хорошенько не сознавая этого.

— Благодарение дьяволу!.. Это не он!.. Меня обмануло сходство! Опасность счастливо миновала, и я спасен!

Произнося эти отрывочные фразы, он сильно спешил к своему далекому жилищу.

* Viens de mort — буквально: спасшийся от смерти, оживший, воскресший (Прим. из первого изд.).

III

Пока наш герой ходил в имение Минса узнавать, куда делась семья его будущего тестя, Альмарик, как мы видели, вернулся домой. Скажем несколько слов о нем и о его семье.

Честный столяр принадлежал к числу тех немногих людей, которые действительно и глубоко были проникнуты чувством страха Божия и у которых поговорка «трудись и молись» не вертелась только на языке, а во всякое время применялась и к делу. Нельзя сказать, чтобы он был человек «набожный», как можно было бы судить по увещаниям, с которыми он обращался к Дюбуру. Совсем нет! Альмарик терпеть не мог на каждом шагу призывать имя Божие, направо и налево сыпать назидательными изречениями из Священного Писания, и из-за наружной набожности бросать работу, как это обыкновенно делают ханжи. Его Бог жил в его сердце, он молился ему втайне и выражал свою набожность честной, безупречной жизнью. Столяр посещал церковь, только когда позволяло время, не занятное работой. Но тогда, какова бы ни была погода, она не могла мешать ему преклонять колени у священного алтаря и молиться от всего сердца.

Жена Альмарика была такого же нрава и такого же оброта мыслей, была единомышленна с ним во всех отношениях. Но, по женской природе, она в то же время строго держалась внешних форм, обрядов, которые Альмарик, по ее мнению, не исполнял достаточно аккуратно и пунктуально. Впрочем, она была образцовой женой и отличной хозяйкой, прекрасно умевшей распорядиться своим добром. Несмотря на скудные средства, какие мог уделять ей на хозяйство муж, всегда очень туживший об этом, госпожа Альмарик всегда умела уберечь хоть безделицу — денежку на черный день, как она говорила, — но не в ущерб семье. В ее хлопотах и заботах ей усердно помогала ее единственное дитя, Августа, и много облегчала тяжелые и в то же время приятные обязанности хозяйки дома.

В настоящую пору молодой девушке было 18 лет, и она была вылитая мать. От отца она унаследовала твердый и решительный характер, не упрямство и своенравие, а ту неподатливость и стойкость, которые благородного человека побуждают оставаться при раз навсегда принятом решении, когда дело идет о добром деле или о достижении хорошей цели. Кроме того, дочь Альмарика обладала и многими внешними достоинствами, сильно подкупавшими в ей пользу. Ее нельзя было назвать красивой, но она была очень хорошенькая девушка, умевшая всем существом своим, своим обхождением снискать и внушить к себе уважение и сердечное расположение всех тех, с кем она приходила в соприкосновение. Она была со всеми дружелюбна, услужлива и готова помочь даже и тем, кто относился к ней совершенно равнодушно или даже выказывал неблагодарность. Она была без претензий, бескорыстна и не злопамятна.

Был, однако, человек, к которому молодая девушка питала отвращение, доходившее почти до омерзения, хотя ему никогда не приходилось становиться к ней в сколько-нибудь близкие отношения, который никогда не оскорблял ее ни взглядом, ни движением. Это какое-то особенное нерасположение можно назвать инстинктивным. Сама Августа была не в состоянии ни объяснить себе этого, ни подыскать какое-нибудь основание для этого чувства. Человек, даже и не подозревавший этого, не пользовавшийся уважением со стороны дочери Альмарика, да если бы и знал это, то мало об этом заботившийся, был не кто иной, как молодой Дюбур. Девушка редко видела его, и то только тогда, когда он бывал у Минса, дочь которого, Юлия, была закадычным другом Августы. Чтобы только не встречаться с ненавистным ей человеком, она уходила как можно скорее домой, отговариваясь то каким-нибудь неотложным делом, то внезапным недомоганием.

Такое бросающееся в глаза поведение дочери не ускользнуло от Альмарика. Он часто бранил ее за это, но без успеха. Августа спокойно выслушивала от отца его выговор и отвечала, что она не в состоянии победить своего отвращения. Мало того — она предостерегала и подругу от этого лег-

комысленного юноши. Юлия уверила ее, что она с нею совершенно согласна и никогда не отдаст своей руки Дюбуру. И когда, несмотря на то, этот последний и питал какие-нибудь надежды сделаться зятем Минса, если и Альмарик также считал это за дело решенное, то его дочери это было лучше известно, но она никому не высказывала своего мнения. Зачем и говорить ей об этом отцу? Минс и сам может сказать ему.

Мы рассказали о житье-бытье столяра, ни разу не упомянув о человеке, который уже месяца четыре гостил у Альмарика, но о присутствии которого никто и не подозревал, кроме, разумеется, его хозяев. Что это был за человек, в каких отношениях он стоял к своему хозяину, и отчего этот последний и его семья хранили о его существовании глубочайшее молчание, читатель увидит из последующего.

Наш столяр считался одним из самых лучших и добросовестных работников своего дела. Он занимался своим ремеслом самостоятельно, но не держал ни подмастерьев, ни учеников. В то время в папском городе работа шла из рук вон плохо, и мастера победнее вынуждены были идти в подмастерья к более богатым. Заработок Альмарика едва-едва хватал на самое необходимое для его семьи; о каком-нибудь сбережении нечего было и думать. И чтобы заработать это крайне необходимое, он должен был работать от раннего утра и до поздней ночи. Сегодня с рассветом он был уже на ногах, и только сумасшедший стук Дюбура в двери его приятеля Минса заставил его на несколько минут оставить верстак и отправиться поболтать с молодым человеком.

Его мастерская выходила на улицу и приходилась прямо против дома Минса. Следовательно, он легко мог видеть, кто туда входил и выходил.

Разговор с молодым человеком, а особенно то обстоятельство, что, несмотря на громкий стук последнего, его все-таки не пускали, наконец и то, что в доме его приятеля, вставшего не позже его, никто и не думал шевелиться, заставил Альмарика призадуматься. Царствовавшая там тишина производила на него тревожное, мучительное впечатление.

Он не мог отделаться от мрачной мысли, не случилась ли с его приятелем какая-нибудь беда, и не мог уже работать с прежним спокойствием.

— Просто удивительно, — говорил он сам себе, бросив пытливый взгляд на стоявший напротив дом и снова принявшись за струганье, — никого не видеть и не слышать, точно в доме все вымерли. Нельзя думать, чтобы Минсы отправились в имение; тогда бы они оставили дома девушку. Да, кроме того, я бы видел, как они отправились. Гм, странно! Да и в первую среду великого поста! По малой мере странная идея, на которую, по-моему, Минс не способен! Еще на отца я не так удивляюсь, но сын... дочь... уехать из города зимой... не понимаю!

Он перестал стругать и снова стал глядеть на улицу.

Кто-то постучался в дверь и отвлек его внимание.

Не дожидаясь позволения, в комнату вошла молодая девушка.

— С добрым утром, милый батюшка! — весело воскликнула она, протягивая отцу руку.

Альмарик отвечал на приветствие, но не поцеловал дочь в лоб, как обыкновенно делал каждое утро.

Несколько озадаченная тем, что она не встретила обычной ласки и полагая, что невзначай в чем-нибудь провинилась, почему отец и не поцеловал ее, Августа спросила опечаленным голосом:

— Не обидела ли я тебя, папа? Ты на меня сердишься?

— Как так, дитя? — удивился Альмарик. — Что это тебе пришло на ум спрашивать?

— Я... я не знаю, — отвечала нерешительно молодая девушка. — Ты что-то сегодня такой серьезный. Не огорчила ли я тебя чем-нибудь, тогда прости мне, пожалуйста!

— Ничуть не бывало, милое дитя, — отвечал тронутый отец, привлекая к себе дочь. — Я, право, не знаю, в чем тебя прощать. Ведь ты у меня всегда милая и послушная девушка. Тебя удивляет, отчего я сегодня серьезнее обыкновенного? Изволь, я скажу тебе. Я не могу избавиться от мысли, что у наших друзей через улицу случилось какое-нибудь несчастье. Чем больше я об этом думаю, тем...

— У Минсов? Несчастье? — перебила его встревоженная дочь. — Но почему же ты так думаешь?

— Не знаю; по крайней мере, для своего предположения я не могу пока найти никакой другой причины, как ту, что у наших соседей, как ты и сама видишь, все окна заперты. Молодого Дюбура, за полчаса перед этим стучавшегося в дверь самым отчаянным образом, не пустили. Разве ты не слыхала грохот?

— Как не слыхать! Я помогала матушке одеваться. Так вот кто разбудил всех, этот отврати....

— И полно, дитя! — остановил укоризненным тоном свою дочь Альмарик, — зачем же так дурно отзываться о ближнем! Что тебе сделал молодой человек, что ты всегда, как только зайдет речь о нем, относишься к нему так не по-христиански? Сколько раз я уже выговаривал тебе и за это и, вообще, за твое непонятное нерасположение к нему.

Девушка вспыхнула и потупилась.

— Ты, может быть, и за дело меня бранишь, милый батюшка, — возразила она, как будто стыдясь и вполголоса, — но я-то никак не могу быть иначе. Я не в силах, мне как-то противно обходиться с господином Дюбуром так, как с прочими нашими знакомыми. Поверь мне, я и сама бранила себя за это, но, несмотря ни на что, никак не могу справиться с собой и победить свое нерасположение к нему.

Альмарик слушал ее и качал головой. Помолчав, он снова начал:

— Это, право, странно! Я, пожалуй, согласен, что не всякий человек производит на нас хорошее впечатление; но для меня совсем непонятно, как это просто ненавидеть человека, не сделавшего никакого зла ни нам, ни кому другому. Дюбуру я вовсе не друг, и не одобряю его недостатки; но в этом случае я стою за него, и могу сказать только то, что ты к нему совершенно несправедлива.

Августа пожала плечами. Лицо ее ясно говорило, что доводы отца ее несколько не убедили.

— Все это может быть, любезный батюшка, — возразила она, — но я никак не могу отделаться от мысли, что Дюбур сделал не одно дурное дело. Мое нерасположение к не-

му не только не уменьшилось, но даже увеличилось. Особенно с того самого дня, когда к нам пришел господин Вьендемор: с тех пор я Дюбура просто терпеть не могу.

Несмотря на все свое беспокойство насчет соседа, столляр не мог удержаться от насмешливой улыбки.

— Ну, теперь я уверен, что тебе начинает представляться, дитя, — сказал он. — Как же это наш гость вяжется с Дюбуром? Молодые люди ни разу не видали друг друга и, следовательно, совсем не знают один другого.

— Как знать! — возразила молодая девушка задумчиво. — Какое-то предчувствие говорит мне, что они не совсем незнакомы.

— Я могу тебе на это сказать, что наш гость, когда при нем называли Дюбура, не показал ни одним движением, что он его знает; но не стану спорить о том, до чего нам с тобой нет никакого дела. Я заговорился и позабыл о том, что меня сильно беспокоит. Так, возвращаясь к тому же, я спрашиваю тебя, не странно ли, что наших соседей до сих пор не видать?

— Ты говоришь о Минсах?

— Ну да! о ком же еще? Другие все давно на работе.

— Они, верно, уехали.

— Уехали? Ты тоже так думаешь?

— Наверно; отчего бы и не так? Вчера еще Минсы говорили, что они хотят скоро сделать маленькое путешествие. Ночью они, вероятно, и уехали.

— Гм, это, конечно, может стать. Но мне все таки странно, что они не оставили дома хоть служанку.

— Они, верно, так и сделали. Но она, наверно, еще спала, когда Дюбур стучался рано утром, или не хотела ему отворять, потому что нельзя сказать, чтобы она его долюбливала. Ты видишь, батюшка, — прибавила, улыбаясь, девушка, — не я одна терпеть не могу Дюбура.

Это последнее замечание своей дочери Альмарик пропустил мимо ушей. Но ее объяснение, видимо, его успокоило, потому что он свободнее вздохнул и незадолго перед тем озабоченное лицо его прояснилось.

— Ты права, должно быть, так оно и есть, — сказал он после минутного молчания. — Какое-нибудь важное или семейное дело заставило Минсов ехать немедленно, и мое опасение насчет какого-нибудь несчастья с ними неосновательно. Но, чтобы совершенно меня успокоить, сходи-ка, постучись у них еще как-нибудь сегодня.

— Если хочешь, я хоть сейчас, — отвечала Августа.

— Ну нет! Из-за этого нечего оставлять работу. Еще успеется до вечера. А теперь, дитя, иди-ка, помоги пока матери.

С этими словами столяр снова взял рубанок и принялся за остановившуюся работу.

Дочь, однако, не дала ему работать, говоря:

— Прежде, папа, пойдем завтракать, суп есть. Мама, верно, уже ждет нас.

— А гость встал?

— Еще бы! Ведь уже девять часов, а ты знаешь, что ему сегодня нужно сделать одно важное дело.

— Истинно так, твоя правда! У меня совсем из головы вон. Ну, так пойдем поскорее!

Альмарик отложил инструмент в сторону и, оставив мастерскую, направился с девушкой в заднюю комнату.

IV

В ту минуту, как Альмарик подходил к этой комнате, дверь из нее отворилась и навстречу им вышла его жена.

Это была женщина приятной наружности и с резкими чертами лица, говорившими о ее добродушии и дружелюбии, внушавшими и расположение, и доверие. Она так хорошо сохранилась, что трудно было определить ее возраст. Ей было, должно быть, лет около сорока восьми, немного разве меньше, чем мужу. Сходство между нею и молодой девушкой до того бросалось в глаза, что с первого взгляда нетрудно было сказать, что это ее дочь.

— А я только что хотела идти за вами; завтрак, как видите, уже на столе, — ласково говорила хозяйка шедшим к ней навстречу мужу и дочери.

— Ну, старуха, — отвечал муж, смеясь, — мы, кажется, не опоздали, потому что еще и гостя нет.

— Господин Вьендемор сейчас придет, — возразила хозяйка Альмарику. — Я уже говорила ему, что...

Стук в двери не дал ей договорить.

— Войдите! — весело крикнул столяр.

Дверь отворилась и через порог переступил бледный молодой человек, пожелавший всем «доброго утра».

На вид ему было лет 28 или 29. Он был стройного роста, хорошего сложения, но держался слегка согнувшись и не совсем твердо, как человек, только что перенесший долгую, тяжелую болезнь и еще не оправившийся от ее последствий. Это видно было и по его несколько мутному взгляду, синеватому цвету лица и по темным кругам под глазами, что придавало всей внешности вошедшего какой-то меланхолический отпечаток.

Судя по одежде, молодой человек принадлежал к состоятельному сословию. Его платье было чрезвычайно чисто, щеголевато и сшито по самой последней моде. На голове была легкая бархатная шапочка, до которой, здороваясь с семьей столяра, он лишь слегка дотронулся рукой, не снимая ее, как того требовала вежливость.

Мать и дочь отвечали на его приветствие, причем эта последняя слегка покраснела, а столяр крепко пожал вошедшему руку и сказал:

— Как вы себя чувствуете, любезный Вьендемор? Надеюсь, гораздо лучше, чем за эти дни.

Молодой человек слабо улыбнулся.

— Не совсем-то, — устало отвечал он, и, указывая на голову, прибавил:

— Иногда у меня там точно головня торчит, до того там жжет и палит.

Обе женщины с большим участием смотрели на говорившего.

— Гм, — произнес Альмарик озабоченным голосом, — от души жаль мне вас! Искренне желал бы помочь вам, только не знаю, чем и как. Странно, — ужасная рана зажила уже с месяц, а между тем все еще болит. Я бы советовал вам поговорить об этом с врачом.

— Нет, нет, — возразил молодой человек, качая головой, — это будет совершенно излишне. Вы знаете, врачи любопытны и... часто болтливы. Нет, я уже лучше перетерплю эту боль... по крайней мере, пока мне удастся разыскать негодяя, который привел меня в такое состояние.

Говоря это, он уселся рядом со столяром и стал прихлебывать налитый ему хозяйкой дымящийся суп.

— Ну, так желаю вам, чтобы это время пришло как можно скорее и чтобы сегодняшний выход ваш увенчался желанным успехом, — сказал от души Альмарик. — Повторяю вам тоже, что и вчера: если вы пожелаете, я готов проводить вас. Сегодня на дворе довольно холодно, а вы еще довольно слабы...

— Благодарю вас, господин Альмарик, — перебил его, оживившись несколько, Вьендемор. — Я, напротив, совершенно другого мнения. Свежий, холодный воздух укрепит меня и мои члены. Нет, уж позвольте мне одному совершить это путешествие; так будет лучше. Я сейчас же и отправлюсь, чтобы к полдню вернуться домой.

С этими словами он поднялся и протянул руку также вставшему со своего места хозяину.

— Ну, как угодно, сказал Альмарик, — пожимая руку молодого человека. — Желаю вам вернуться к нам крепче, чем уходите.

Вьендемор дружески распростился со своими гостеприимными хозяевами и отправился в свою комнату. Через четверть часа он вышел из домика через заднюю дверь на улицу. Он шел не спеша и, дойдя до городской стены, повернул на дорогу, ведущую к папскому дворцу.

Ожидания молодого человека, что его ослабевшие от долгой болезни члены укрепятся от прогулки на свежем воздухе, оправдались. Холодный воздух освежил его горячую голову и придал некоторую окраску его бледным щекам.

Грудь его сильно подымалась и опускалась, и он с наслаждением вдыхал в себя струи ветра, согретого зимним солнцем. Его вначале неверная и шаткая походка с каждым шагом становилась вернее и тверже. И когда, через три четверти часа, он достиг цели своего путешествия, то почти был недоволен, что пришлось так мало пройти.

После легкого обыска, на случай, если бы у него оказалось спрятанное оружие — этой мере подвергался всякий посетитель, желавший говорить с наместником папы с глазу на глаз, — Вьендемора провели к папскому легату.

Монсеньор Марино Винчентини находился один в своем устроенном со всем комфортом тогдашнего времени покое и лежал, растянувшись в небрежно-покойной позе, на кушетке. Это был красивый мужчина лет 40-45, почти с женственными чертами лица, по которым далеко нельзя было отгадать его настоящий характер, представлявший смесь строгости и доброты, непреклонности и уступчивости. По его наружному виду нельзя было и подумать, чтобы он проявлял во всех своих мерах большую решительность и с настойчивой последовательностью проводил раз принятое решение. Он был очень снисходителен, крайне мягко относился к незначительным проступкам, ограничиваясь лишь серьезным увещанием, но все то, что оказывалось преступлением, он наказывал с неумолимой строгостью, почти граничившей с жестокостью, и смягчал наказание лишь в том случае, если преступник выказывал чистосердечное раскаяние. Одним словом, Винчентини был таким человеком, лучше которого благомыслящим гражданам города Авиньона и желать было нечего.

Когда молодой человек вошел в покой легата и поклонился три раза, легат немного приподнялся, почти что не изменяя своей небрежной позы, и устремил на посетителя пристальный взгляд.

Молодой человек почтительно остановился у двери.

— Вы господин Вьендемор? Это вы просили у меня вчера письмом аудиенцию? — спросил он потом несколько поспешно, но дружелюбным тоном.

Спрошенный молча поклонился.

— Что вам от меня угодно? — продолжал быстро Винчентини.

— Правосудия, монсеньор! Наказания одного преступника! — отвечал молодой человек слегка дрожащим голосом.

— И то, и другое будет вам оказано, если только это в моей власти, — отвечал легат серьезно и с достоинством, невольно совершенно поднявшись со своего ложа. — Расскажите мне, что с вами случилось, тогда я увижу, чем я могу вам помочь.

— Но, монсеньор, мне придется слишком много рассказывать, а я боюсь употребить во зло ваше терпение, — робко заметил Вьендемор.

— Не бойтесь, молодой человек, — перебил его Винчентини с ласковой улыбкой. — Мой сан обязывает меня узнавать о совершенных преступлениях и наказывать злодеев, и в этом отношении мое терпение не имеет пределов, следовательно, вы не истощите его рассказом о случившемся с вами. Но, как я вижу, вы больны, поэтому, пожалуйста, садитесь и тогда уже рассказывайте!

Молодой человек, в самом деле чувствовавший себя и взволнованным, и усталым, поблагодарил поклоном и опустился в одно из мягких, голубых, украшавших комнату кресел.

Глубоко переведя дух, он начал:

— Монсеньору, вероятно, уже известно о преступниках, известных под именем «усыпителей»?

При таком, вероятно, неожиданном для него вступлении легат вскочил.

— В самом деле? — воскликнул он. — Следовательно, эти нового рода злодеи действительно существуют? Я должен сознаться, что до сих пор сомневался в их существовании, и всякие касавшиеся их донесения, откровенно говоря, считал за сказки.

— К сожалению, это не так, монсеньор, — мрачно отвечал Вьендемор. — Эта шайка преступников существует и, я должен прибавить, даже очень близко от города...

— Как? А об этом-то мне ничего и не сказали? — вспыхнул Винчентини. — Мне нарочно передавали неопределенные слухи о существовании этих мошенников! Что за беспечный народ эти чиновники!

— Монсеньор, — робко осмелился заметить молодой человек, — ваши чиновники, верно, не виноваты; вряд ли они знали что-нибудь об «усыпителях», да едва ли знают что-нибудь и теперь.

— Как же вы можете утверждать это! — резко заметил легат.

— Я высказываю только свое мнение, монсеньор, — скромно возразил Вьендемор, — и полагаю, что не ошибаюсь. Насколько мне известно, со времени преступления, жертвой которого был я, другого подобного эти злодеи еще не совершали. Я же об этом, за исключением своих хозяев, никому не говорил.

— Да, ну это, конечно, другое дело, — сказал несколько успокоившийся Винчентини и тотчас же прибавил:

— Но отчего же вы тотчас же не объявили об этом?

— Несколько дней тому назад я только что встал после тяжелой болезни, вследствие совершенного надо мною преступления, и сегодня в первый раз вышел на улицу. Но своих хозяев я упросил хранить глубочайшее молчание обо всем, что меня касается, и они сдержали свое слово. Это было, может быть, и не совсем хорошо, но для меня было необходимо: я боялся за жизнь своих благородных спасителей и хотел перехитрить преступников.

Легат одобрительно кивнул головой.

— Вы правы, господин Вьендемор, — сказал он, — и поступили благоразумно. Но расскажите, пожалуйста, о совершенном над вами преступлении, и как можно подробнее, чтобы мне хорошенько вникнуть в дело. Больше я вас пезребивать не буду.

— Прежде, чем начать, монсеньор, — сказал молодой человек, — я должен вам объявить, что имя, под которым я имел честь испросить вашей аудиенции, не мое, я же, собственно, называюсь Бонгле. Те же самые причины, побу-

дившие меня молчать о преступлении, заставили меня и переменить имя.

— Это хорошо, продолжайте, — заметил одобрительно Винчентини.

— Меня зовут Рауль Бонгле, я родом из города Карпен-тра, близ которого у меня небольшое имение. 14-го ноября прошлого года, ради некоторых покупок, я был вынужден предпринять сюда путешествие. До городка Оранж я добрался безо всяких приключений, а оттуда вплоть до Авиньона пришлось ехать сплошным лесом. Я ехал уже часа три, как встретил двух хорошо одетых всадников, которые довольно долго ехали рядом со мной, не говоря, однако же, ни слова. Наконец они воспользовались одним случаем, и под предлогом скучной дороги, завязали со мной разговор. Их открытое лицо и занимательный разговор внушили мне к ним такое доверие, что я предложил отобедать вместе. Они с радостью приняли мое предложение, но с условием заплатить за себя.

Когда мы приехали в гостиницу ближайшей деревни и сели за стол, явился еще третий путешественник, по-видимому, не знакомый с теми, с которыми приехал я. Он объяснил нам, что направляется в Авиньон, и узнал от хозяина, что и мы едем туда же. Если, поэтому, для нас не будет особенно неприятно принять его в наше маленькое общество, то мы сделаем для него большое одолжение. Мы согласились, и он был очень рад, что с нами встретился, и в заключение просил позволения сесть за стол с нами. Пообедав, мы вчетвером поехали дальше.

Новый товарищ по путешествию умел так прекрасно занимать нас разного рода, в высшей степени остроумными, шутками и забавными анекдотами, что время прошло для нас очень приятно. Может быть, я и ошибся, но несколько слов, вырвавшихся у него во время разговора, навели меня на мысль, что, хотя он с самого начала и показал вид, будто не знаком с двумя другими моими спутниками, но на самом деле знает их очень хорошо.

Спустя несколько часов езды, новый товарищ по путешествию предложил подкрепиться в ближайшей деревне

несколькими стаканами свежего пива. Так как кушанья, которые мы ели за обедом, были очень солонны и нам сильно хотелось пить, то мы охотно согласились на это предложение. Наш товарищ тотчас же отправился вперед, чтобы заказать, как он говорил, бутылки две свежего напитка.

Приехав в трактир, мы выпили каждый по стакану пива и, не медля, поехали дальше, чтобы до сумерек добраться до цели своего путешествия, до которой оставалось вряд ли три четверти часа езды.

Наша, незадолго еще столь веселая, беседа вдруг прекратилась. Каждый из нас предался течению своих мыслей и, казалось, позабыл о других и думать. Однако мне казалось, что новый товарищ по путешествию, полагая, что я в это время не наблюдаю за ним, по временам как-то странно вглядывался в меня и с другими моими спутниками обменивался таинственными знаками.

От последней деревни мы отъехали не больше получаса и уже завидели башни Авиньона, как вдруг я почувствовал головокружение и в то же время непреодолимую усталость. Веки отяжелели, точно налитые свинцом; тщетно боролся я с этим состоянием и наконец пожаловался об этом своим сотоварищам. Они поддерживали меня, утешали, высказывали живейшее участие и в то же время, казалось, величайшее смущение. Наконец я был уже не в силах прямо сидеть на лошади, и помню только, что мои спутники отвели меня в кусты, которые мы только что проехали. Затем я потерял сознание.

— Отвратительно! — воскликнул легат, следивший с очевидным участием за рассказом своего посетителя. — Бездельники, наверно, подмешали вам сильного сонного средства в пиво, чтобы вас оглушить и потом спокойно ограбить.

— Вы угадали, монсеньор, — отвечал молодой человек. — Но злодеи имели намерение не только ограбить меня, но и убить. Тем, что последнее не совсем удалось им, я обязан только человеколюбивому и в высшей степени заботливому уходу в семействе моего спасителя, столяра Альмарика.

Дальнейшее, что мне осталось досказать вам, мне передано этим благородным человеком.

Когда я очнулся и в первый раз снова открыл глаза, оказалось, что я лежу на кровати в полутемной, просто меблированной комнате. В ногах у меня сидела молодая семнадцатилетняя девушка, дочь моего спасителя. Я чувствовал в голове какую-то тупую боль и, невольно дотронувшись до нее рукой, я сделал открытие, что она была вся обвязана.

— Хвала тебе, Пресвятая Дева! — пробормотал чей-то голос. — Он просыпается и, наконец-то, возвращается к жизни. О, как отец обрадуется!

— Где я? Что со мною случилось? — прошептал я слабым голосом.

Никто мне не ответил. Вероятно, молодая девушка вышла потихоньку из комнаты, потому что, когда я с большим усилием приподнялся на постели и осмотрелся, то заметил, что я находился один в совершенно незнакомой мне комнате.

Но в следующую же затем минуту дверь отворилась и молодая девушка возвратилась в сопровождении пожилых мужчины и женщины. Ни у кого еще на лице не видел я такой чистосердечной радости и участия, как у этих мне совершенно незнакомых людей.

— Слава Богу, — сказал мужчина, от души пожимая мне руку, — что вы наконец-то пробудились от своего мертвого сна и возвратились к жизни! Я было потерял уже всякую надежду.

На мои расспросы Альмарик сообщил мне, что два дня тому назад, возвращаясь домой из деревни Веден, куда ему было нужно сходить по делам, он увидал следы крови возле одного частого кустарника. Желая узнать, отчего бы это могло быть, он вошел в кусты и под кучей насыпанных листьев нашел тело человека, у которого из глубокой раны на голове текла кровь, и только по чуть слышному сердцебиению мог убедиться, что он еще жив. Более подробное исследование показало столяру, что тут было совершено преступление: убийство и грабеж. Чтобы не приняли за виновника его самого, Альмарик опять прикрыл несчастного ли-

ствиями и поспешил в город, чтобы часа через два, когда совсем уже смеркнется, возвратиться на место преступления с ручной тележкой и в сопровождении жены и дочери. Полумертвого, тщательно закутав в одеяло, они положили его на тележку и доставили домой так, что об открытом преступлении никто ничего не узнал.

Двое суток я не просыпался из своего летаргического сна и два дня лежал без всякого сознания. Так как негодяи не удовлетворялись тем, что ограбили у меня все сколько-нибудь ценное, но сверх того захватили и все мои документы, то мой спаситель оставался в совершенном неведении относительно моей личности до времени моего пробуждения от оглушения, в которое я впал благодаря принятому яду и нанесенной в голову ране. Тут я сказал ему свое имя и рассказал все, что знал о случившемся. Альмарик, до сих пор не обращавшийся к врачу, объявил, что теперь он сходит за ним. Я упросил его не делать этого в надежде, что рана в несколько дней заживет. Но я ошибся. Не одна рана, но и яд, подмешанный мне бездельниками в напиток, были причиной того, что я должен был почти три месяца пролежать в постели и встать с нее лишь несколько недель тому назад. И вот я перед вами, монсеньор, — заключил, тяжело вздохнув, молодой человек свой рассказ, — с моей всепокорнейшей просьбой, умоляя о правосудии.

— Оно вам будет оказано, — отозвался с участием легат, — предполагаю, что при моем рвении мне удастся открыть отвратительных злодеев. Но вы могли бы значительно облегчить мне эту задачу, если бы дали мне какие-нибудь указания, например насчет личности виновников.

— К сожалению, я не в состоянии этого сделать, монсеньор, — признался Вьендемор, печально понутив голову. — Вследствие долгой болезни моя память до того пострадала, что я решительно ничего не могу припомнить о том или другом бездельнике, хотя и уверен, что найдись один из них, я, может быть, и признаю его.

Легат с недовольным видом почесал у себя за ухом.

— Гм, — заметил он после минутного молчания, — это необыкновенно как затрудняет дело, и на скорое окончание

его нельзя рассчитывать. Не помните ли вы, по крайней мере, имен, которыми называли себя негодяи во время разговора?

— Я слышал только, как несколько раз они называли кого-то Густавом, Антонием, и больше никаких имен не помню.

— Которого из ваших спутников называли первым, и которого вторым именем?

Молодой человек уставился в пол и задумался. Потом после короткого молчания живо воскликнул:

— Теперь я припоминаю, кто назывался Густавом! Это был всадник, присоединившийся после всех и показавший вид, что он не знает остальных двух. Когда он уехал от нас, чтобы заказать пиво, я совершенно ясно слышал, как один из моих спутников прошептал другому: этот Густав всегда попадет в гвоздь по шляпке! Но вот и все, что я могу вам сказать, монсеньор.

Винчентини улыбнулся.

— Этого, правда, маловато, но посмотрим. Нередко самые, по-видимому, незначительные факты оказывались достаточными, чтобы совершенно раскрыть преступление. Поэтому не будем падать духом. Бог всемогущ и не откажет в помощи нашим стараниям разыскать злодеев и предать их правосудию. Кстати, вы говорили, что они украли и все ваши бумаги, удостоверявшие о вашей личности?

— Так точно, монсеньор, но вы можете велеть письменно справиться обо мне у моей экономки в Карпентра, которая и удостоверит, что я вам о своей личности сказал совершенную...

— Незачем! — перебил, улыбаясь, молодого человека летать. — Вы меня не так поняли, предположив в моем вопросе сомнение насчет вас. Я спросил только для того, чтобы хорошенько выяснить себе одно обстоятельство, которое мне кажется немаловажным. Ваши документы лежали в особом кармане или вместе с ценными бумагами?

Вьендемор отрицательно покачал головой.

— Нет, монсеньор, — отвечал он, — бумажник с банковыми билетами был у меня в панталонах, а бумаги в карма-

не фуфайки.

Винчентини кивнул одобрительно.

— Так я и думал, — сказал он. — Бумаги украли у вас для того, чтобы воспользоваться ими для известной цели, и это обстоятельство может нас привести на след преступников. Очень возможно, что они воспользуются бумагами для того, чтобы во время вашего отсутствия, или считая вас уже мертвым, выудить у вашей экономки деньги или ценные вещи.

— Об этом я уже позаботился, — сказал молодой человек, — потому что первое, что мне пришло в голову, когда ко мне вернулось сознание, это дать знать моей экономке, что я лишился своих документов.

— Гм, это было не совсем умно сделано. Преступников, может быть, и открыли бы, если бы случилось противоположное тому, что вы сделали, и если бы вы об утрате бумаг молчали точно так же, как и обо всем остальном.

— Извините, монсеньор, что я на этот счет совсем другого мнения. Того, что вы предполагаете и что подозревал и я, не случилось. Моя экономка, в верности и преданности которой я совершенно уверен, несколько дней тому назад писала мне, что до сих пор к ней никто не являлся за требованием денег по моему поручению.

— Но это ничуть не доказывает, чтобы на днях не случилось противного. Во всяком случае, мы имеем дело с пройдохами и должны постараться перехитрить их. Для того, чтобы их выследить, я советую вам в точности подчиниться всем моим распоряжениям и впредь не предпринимать ничего, не известив меня об этом. Теперь слушайте внимательно, что я вам скажу.

Вьендемор поклонился с выражением согласия.

— Прежде всего, старайтесь по возможности не показываться в публичных местах, — продолжал легат, — отправляясь ко мне, выбирайте вечерний час для посещения, а наперед уведомляйте меня письменно об этом. Продолжайте называться теперешним вашим именем и постарайтесь пребывание ваше в этом городе продлить покамест еще на один месяц; за это время ваша экономка должна быть уполномо-

мочена немедленно исполнить требование всякого, кто предъявить ей один из ваших документов. Само собой разумеется, что тот из вашей прислуги, на верность которого вы можете положиться, должен тайным образом узнать имя и место жительства этого субъекта и сейчас же сообщить вам об этом. Всякие убытки, могущие произойти вследствие такой меры для вас, будут мною возвращены вам; равным образом, я считаю своим долгом вознаградить и вашего человеколюбивого хозяина. Если случай будет нам благоприятствовать, то в течение месяца, может быть, мы разыщем безбожных злодеев и привлечем их к ответственности. Следовательно, вы присуждаетесь к четырехнедельному домашнему аресту, которому вы и должны подчиниться, ради доброго дела, спокойно и безропотно, — прибавил Винчентини шутливо. — Хорошо ли вы поняли все то, о чем я вам говорил, и довольны ли вы моими распоряжениями?

— Да, монсеньор, и благодарю вас от всей души, — отвечал молодой человек с сияющими от радости глазами. — Да увенчает сам Бог и Пресвятая Дева ваши старания всевозможным успехом!

— Аминь! Я надеюсь и желаю этого как ради вас самих, так и ради земного правосудия, — серьезно произнес Винчентини.

Он перекрестился и затем сделал рукой милостивый знак, позволявший Въендему удалиться.

С легким поклоном он вышел из покоя и папского дворца. Он шел с облегченным сердцем и с более радостными надеждами, чем с какими вступал сюда.

Мы уже рассказывали выше, что в тот момент, когда он вышел на улицу, его заметил Дюбур и при появлении молодого человека остановился как пораженный громом, и в смущении, с ужасом глядел ему вслед.

Правда, и Въендемор увидал его, но его черты показались ему незнакомы; по крайней мере, он не мог припомнить, чтобы он где-нибудь и когда-нибудь с ним встречался. Впрочем, теперь ему некогда было об этом и думать. Его мысли были еще слишком заняты только что кончившейся аудиенцией; он уже заранее радовался, как он передаст о

счастливым ее результате своему благородному хозяину, а особенно его дочке, к которой он чувствовал глубокую склонность. И в этом радостном настроении он добрался до Альмарика.

V

10-го февраля после полудня должны были состояться — как мы уже слышали от самого Дюбура — похороны масленицы. Так как эта потеха происходила каждый год в первый день великого поста, то публика была некоторым образом приготовлена к безумствам, которые при этом совершались, и наверно в высшей степени удивилась бы, если бы этого не было по-прежнему.

Поэтому уже с 2-х часов дня авиньонская молодежь, бывшая вчера маскированной, расхаживала по городу в том же наряде в сопровождении толпы музыкантов, оглушавших своими тамбуринами, флейтами, барабанами и кларнетами. Участники похорон держались за пестрые платки с узлами на концах и составляли собою длинную вереницу, которая то извивалась, то вытягивалась по прихоти или команде предводителя.

А предводителем труппы был не кто иной, как Дюбур.

Труппа состояла не из одних мужчин, но и из взрослых девушек и даже замужних женщин. Само собою разумеется, что эти последние не принадлежали к числу почтенных горожанок, потому что, решившись принимать участие в затяхах и увеселениях вместе с молодыми, легкомысленными и полупьяными людьми, они принуждены были допускать творить над собою многое такое, чего не позволяют приличие и добрые нравы. Похороны обыкновенно завершались дикой попойкой, на которой предавались самым постыдным излишествам.

Тогдашние духовные власти в Авиньоне не обладали достаточной энергией, чтобы вдруг отменить столетиями освященный обычай, и старались только несколько огра-

ничить его. Они разрешили эту последнюю сатурналию под тем условием, чтобы маски не надевались; поэтому мужские участники в маскараде прицепили их в петлицах, а женщины — к затылку. Принц Карнавал, в виде большой, уродливо разряженной куклы, лежал на разукрашенном одре, с короной на голове, сделанной из картона и сусального золота. Хоровод скоморохов извивался и вертелся вокруг венценосного чучела, выделял уморительные прыжки и исполнял разные танцы; тысячеголовая толпа испускала крики радости, восторга и ликования, в промежутках раздавалась пушечная пальба и ружейные выстрелы, гоготанье мужчин и пронзительное взвизгиванье женщин, с которыми проделывали разные бесчинства и сумасшедшие выходки. Одним словом, все ликовало и предавалось самому разнузданному веселью. Все население или торчало у окошек, или высыпало на улицу, редко кто продолжал заниматься работой, потому что каждому хотелось вполне насладиться последним днем масленицы 1768 года или хоть посмотреть, по крайней мере, на беснование сумасшедших.

Процессия с масленичной куклой двигалась по той улице, где жил Альмарик, и Дюбур нарочно задержал толпу на несколько минут перед его домом. Из окон всех соседних домов повысовывались головы их обитателей, но не было видно ни столяра, ни его семьи.

— Жалкий упрямец! — сердито пробормотал про себя Дюбур. — Он не одобряет нашего небольшого удовольствия, а сам в мои годы, наверно, пускался во все тяжкие. Не стоит, впрочем, беспокоиться из-за этого вновь испеченного святого!

— Вперед, друзья! — крикнул он толпе громовым голосом. — Вперед — к костру, и запевайте предсмертную песню!

И при громких возгласах непристойной песни шествие снова двинулось по улице, направляясь к набережной.

Дюбур схватил за руку семнадцатилетнюю девушку и пошел с нею впереди толпы. В противоположность остальным участницам, она была сравнительно прилично одета, да и вообще не походила на прочих. Она еще стыдливо краснела от речей, которые по дороге говорил ей ее спутник,

тогда как у ее товарок со стыдом дело было решенное. Она примкнула к веселой компании из любопытства и была настолько безрассудна, что дала своему кавалеру обещание принять участие после похорон в приятельской вечеринке. Если бы она знала, в каком виде она вернется домой, то, наверно, не давала бы такого необдуманного обещания. Но любопытство, легкомыслие и тщеславие искони были подводными камнями, о которые терпела крушение невинность молодой девушки, и вечно будут такими, пока стоит свет, потому что в сердце женщины вечно тлится непреодолимая страсть полакомиться запрещенным плодом.

Наконец процессия достигла площади перед папским дворцом. Здесь должна была совершиться главная сцена всей забавы.

Посреди площади, на глазах легата, был воздвигнут громадный костер для сожжения масленицы среди всевозможного веселья. Когда траурная процессия пришла на площадь, то эта последняя была уже полна любопытных обоего пола.

Костер был окружен тройной цепью шутов и принц Карнавал был брошен на самый верх его. Тогда Дюбур рукой дал знак молчать, и когда все смолкло, запел сочиненную им самим песню, и последние слова каждой ее строфы повторялись всеми присутствующими.

Собравшаяся толпа разразилась исступленным криком одобрения, когда молодой человек окончил свою песню, и раздалось многоголосое: «Да здравствует Дюбур!» Последний скромно поблагодарил и дал знак обоим факельщикам поджигать костер.

Только что эти последние приготовились исполнить приказание, как вдруг два папских солдата протолкались сквозь толпу и вырвали у исполнителей факелы.

— Это что такое? Кто вам позволил мешать нашему удовольствию? — вспылил Дюбур.

— Да, да, что вам нужно? Прочь отсюда! — кричали некоторые молодые люди.

— Монсеньор легат приказывает вам спокойно разойтись по домам, — отвечал один из солдат.

— Нам никто не смеет приказывать! — закричали женщины. — Что мы хотим, то и делаем!

Из толпы посыпался град ругательств и проклятий.

— К черту легата! — слышался один голос.

— В огонь солдат! — крикнула какая-то грязная старуха.

— Сегодня мы еще имеем право веселиться, и никто не должен мешать нам, — спокойно заметил Дюбур. — Итак, не обращайтесь внимания, друзья, — обратился он к товарищам. Вперед, к костру!

Тотчас человек двадцать участников маскарада бросились на солдат, чтобы обезоружить их. К великому удовольствию толпы костер был зажжен, огромный столб дыма поднялся кверху и густым облаком закутал на минуту всю толпу. Страшные голоса заревели уличную песню и пушечная пальба завершила аутодафе.

Веселье и ликование дошли до невозможного, каждый старался перекричать другого, как вдруг шум прекратился и наступила глубокая тишина.

Папским солдатам не удалось остановить неистовый рев толпы, но она мгновенно стихла при появлении достопочтенного, пользовавшегося всеобщим уважением и за свои добродетели и по своему высокому сану, человека. То был папский генерал-прокурор, аббат Сестили, семидесятипятилетний старик, исполненный достоинства и с ласковыми чертами лица, изобличавшими сердечную доброту.

Боязливо расступалась направо и налево толпа, чтобы дать ему место; он дал знак, что хочет говорить. Наконец к нему подошел Дюбур и подвел его к каменной скамье.

Аббат встал на нее и начал серьезным, убедительным тоном:

— Возлюбленные братья и сестры, выслушайте меня внимательно и не перерывайте, потому что то, что я намерен сообщить вам, исполнит сердца ваши ужасом. Приказывая вам разойтись по домам, легат сделал это не с тем, чтобы помешать вашему удовольствию, им же разрешенному; нет, напротив, монсеньор мне велел даже выразить вам свое живейшее сожаление о том, что он принужден превратить вашу радость в горе и ваши ликования в вопли. Братья и

сестры, сердце мое наполнила скорбью мрачная весть, которую я имею вам передать: прошлой ночью в городе совершено ужасное преступление. Боюсь, что совершивший его гнусный злодей находится все еще в стенах нашего города и, может быть, среди вас, чтобы заглушить голос совести весельем и ликованием... Ввиду такого ужасного несчастья, вы будете сетовать, что предались удовольствию, и сожалеть о своей радости и веселье. Станет ли у вас духу продолжать свою пляску?

Всеобщий ужас охватил толпу, внимательно прислушивавшуюся к словам любимого священнослужителя. Теперь каждый сознавал свою вину и, по-видимому, раскаивался в неисполнении приказа идти домой. Несмотря на то, лишь немногие потихоньку прокрались вон из толпы, большинство же точно окаменело на своих местах и стояло в молчании, не проронив ни одного слова. Один боязливо, тревожно, украдкой поглядывал на другого, как бы желая прочесть на лице соседа, не он ли тот безбожный злодей, о котором говорил аббат.

Дюбур побледнел как мертвец и дрожал всеми членами, не будучи в состоянии вымолвить ни слова.

Аббат только что хотел спуститься со скамьи, как один из ближе стоявших к нему людей обратился к нему с вопросом:

— Над кем же совершено это страшное преступление, ваше высокопреподобие? Кто убийца?

— Убийство с грабежом? — спросил другой из толпы.

— Не знаю, — отвечал старец. — Власти не могли еще привести это в полную известность. Я знаю только то, что убиты Минсы, как я уже сказал вам перед этим.

Достойный служитель Божий, вследствие легко понятного возбуждения, в котором он находился, совершенно забыл, что он до сих пор не называл жертвы преступления. Этим известием, по-видимому, особенно поражен был Дюбур, потому что в сильном испуге он попятился на шаг назад и, запинаясь, воскликнул:

— Как? Что вы говорите... ваше высокопреподобие... семейство... Минсов... все семейство?

Аббат с прискорбием склонил голову и повторил:

— Да, все семейство! Как жаль!

— О, Боже мой! — горестно пролепетал молодой человек, приложив руку к сердцу.

Вдруг, по-видимому, у него блеснула слабая надежда, потому что его лицо как будто несколько просияло и прерывающимся голосом он воскликнул:

— Все убиты?... Невозможно!... Вы ошиблись, ваше высокопреподобие... не может быть, как вы сказали... Вы качаете головой. Как? Неужели же это правда, страшная, ужасная истина?.. Все, все... и... дочь... и Юлия?

— Все, — подтвердил старец глухим голосом и со слезами на глазах.

— Это ужасно! — бормотал Дюбур, закрывая лицо руками. — И она! О, это страшно, я не в силах этого вынести...

Рыдания заглушили его голос. Слезы самой глубокой скорби брызнули из его глаз.

Аббат нежно провел рукой по его голове и, наклонясь к нему, сказал растроганным голосом:

— Утешьтесь, мой бедный друг! Я понимаю вашу горечь, я знаю, как вы были близки к бедной девушке и какую страшную потерю вы понесли. Но мужайтесь и будьте уверены, что Господь налагает на человека крест не тяжелее того, что он может снести, и что кого он любит, тех и наказует.

— Но это наказание слишком жестоко, — ваше высокопреподобие, — возразил, плача, молодой человек.

— Не слишком жестоко, — возразил аббат. — Оно послужит к вашему благу и очистит душу вашу.

— Я знаю, отец мой духовный, что я много согрешил и во многом должен каяться, — отвечал Дюбур, опустив глаза, как будто пристыженный. — На все бы я согласился спокойно и безропотно в наказание за свои грехи, но это горе — слишком жестокое наказание, которое я должен нести всю мою жизнь, которое я век буду помнить.

— И все же вы перенесете это горе, — сказал аббат. — Время исцеляет все недуги; заживет и рана, нанесенная вашему сердцу, сын мой, будьте в этом уверены.

— Никогда! — с жаром воскликнул молодой человек.

Затем, вытирая свои слезы, он быстро прибавил, вдруг осененный внезапной мыслью:

— Когда, сказали вы, ваше высокопреподобие, было совершено преступление?

— В прошлую полночь, — отвечал старец. — Я уже говорил вам, что хорошенько это еще не приведено в известность.

— В самую полночь, — повторил про себя Дюбур, но может быть, нарочно настолько громко, чтобы его слова слышали стоявшие вокруг него и аббата. — О, значит, меня все-таки не обмануло мое предчувствие!

— Вы догадывались об этом, Дюбур? — спросил с удивлением один из молодых людей. — Как же можно было догадаться или предчувствовать такое ужасное преступление?

— Какой же ты дурак, Брютондор, — вспыхнул Дюбур. — Разве я говорил, что я предчувствовал преступление? У меня было только какое-то темное предчувствие, что с Минсами случилось несчастье, вот и все! И это оттого, что сегодня, рано утром, когда я стучался у Минсов, желая спросить их, не хотят ли они принять участие в нашем маскараде, никто мне не отворил дверей, что может подтвердить и столяр Альмарик, с которым я разговаривал.

— Ну, ну, из-за этого нечего сейчас же горячиться, — спокойно заметил Брютондор. — Твое замечание показалось мне как-то странным, и так как...

— Странным, — ты, кажется, пьян, иначе не стал бы породить такую чепуху! — сердито воскликнул Дюбур.

Между молодыми людьми готова была завязаться сильная ссора, которая, пожалуй, перешла бы и в более серьезное дело. Но видя это, достойный аббат вмешался и сказал:

— Полноте, любезные друзья! К этому дню печали и скорби не станем прибавлять нового горя.

Затем, обращаясь прямо к Дюбуру, он прибавил:

— А вы, мой сын, умерьте свою неуместную горячность, которую я уже не раз порицал в вас. Ваш приятель не так понял вас, что при возбуждении, которое причинило нам

ужасное преступление, весьма извинительно. Дайте ему руку, чтобы я видел, что вы друг друга прощаете, и чтобы мне не вернуться домой с неприятной мыслью, что своим сообщением я поселил еще и раздор.

— Я не допущу этого, — отвечал тронутый Брютондор, — по крайней мере, я не желаю этого, ваше высокопреподобие.

С этими словами он протянул, улыбаясь, Дюбуру руку, которую тот взял, хотя и нерешительно.

— Благодарю вас, друзья мои, теперь я спокойно ухожу отсюда, — сказал старец, сходя со скамьи и готовясь уходить с площади.

— Еще на минуту, ваше высокопреподобие, — обратился к нему Дюбур.

— Что вам угодно, сын мой? — спросил ласково аббат.

— Известно ли имя злодея, совершившего преступление? — спросил Дюбур.

— Нет еще, насколько мне известно, — отвечал старец.

— По крайней мере, кого подозревают в убийстве? — расспрашивал Дюбур.

— Гм-да, не знаю, — отозвался нерешительно аббат, — но оно до того чудовищно, что неизвестно, на кого и подумать.

Затем, после некоторого раздумья, он прибавил, как бы озаренный внезапной мыслью:

— Я думаю, было бы очень полезно, если бы вы пошли со мной на место преступления, сын мой. Впрочем, я за этим и пришел сюда. Вы были лучшим другом несчастной семьи и часто виделись с ними. Я буду предлагать вам вопросы на этот счет; во всяком случае, вы можете дать правосудию самые лучшие и точные сведения.

— Конечно, ваше высокопреподобие, конечно, — с готовностью откликнулся молодой человек. — В этом отношении вы можете на меня положиться, я вам расскажу все, что я знаю. Так пойдемте же, меня влечет туда непреодолимое желание взглянуть на мою бедную несчастную Юлию. О, Боже мой, в каком состоянии я ее увижу!

С этими словами он вынул из кармана платок и быстро утер им глаза.

Затем, взяв за руку аббата, он пошел с ним через площадь.

Несколько минут спустя площадь покинули и остальные участники торжества и разошлись по ближайшим улицам или отправились по домам.

VI

Весть о гнусном преступлении быстро облетела весь город и всех поразила. Везде встречались озадаченные, тревожные лица; на всех улицах собирались кучки людей, толковавших о происшествии и жалевших о несчастном семействе, заслужившем всеобщую любовь.

Людовик-Флорентин де Минс-Фонбарре был родом из Намюра, обучался часовому мастерству, затем отправился путешествовать для необходимого усовершенствования, и наконец, в 1733 году, поселился в Авиньоне и женился. Счастье ему улыбнулось настолько, что он имел возможность, благодаря своему усердию и скромной жизни, составить себе довольно значительное состояние. Спустя два года после женитьбы, его жена обрадовала его рождением сына, а через пять лет и дочери. Вторая дочь, мертворожденная, стоила жизни матери. Это было единственное несчастье, постигшее Минса, но для него оно было так тяжело, что надолго подействовало угнетающим образом и на его душу, и на здоровье. Он слишком любил жену и никогда не мог забыть ее. С того самого дня, как она закрыла глаза, он, бывший до того человеком веселого нрава и светлого настроения духа, совсем переменялся, по-видимому, навсегда отказался от всех радостей и удовольствий этого мира, и все свои помышления направил на одну цель — посвятить себя наилучшему воспитанию детей. Он решительно отказывался от всяких предложений вступить во второй брак, потому что никак не мог забыть своей жены. Затем, его пу-

гала мысль, что у его детей будет мачеха; он был убежден, что ему не найти женщины, которая могла бы любить его ради его самого, а не ради его состояния, и в то же время так искренно любить его детей, как своих собственных. Минсу приходило на ум, что ему нередко, может быть, придется подвергаться большим неприятностям и защищать от жены детей. Поэтому он счел за лучшее отказаться от сомнительного счастья, и весь запас своей любви и нежности посвятил сыну и дочери, не поступаясь этими чувствами в пользу чуждой ему женщины. Итак, он стал жить с тех пор только для своих детей и делил свое время между работой и молитвой, посещая церковь так часто, как только ему позволяли его занятия; единственный отдых доставляла ему охота. Впрочем, весьма строгий в исполнении составленных себе правил жизни, он никогда не допустил бы, чтобы его дети не исполняли какого-нибудь предписания римско-католической церкви.

Ко времени нашего рассказа сыну часовщика было двадцать три года, а дочери восемнадцать. Первый, по имени Иосиф, был красивый и стройный молодой человек, совершенно походивший на отца и наружностью, и характером. Юлия же, напротив, походила больше на покойную мать, от которой к ней перешла кротость и любезность. Впрочем, она была первоклассной красавицей, и многие юноши страстно желали иметь ее своей женой, отказываясь даже от значительного приданого, на которое она могла от отца рассчитывать. Когда пронесся слух, что эта прекрасная девушка предназначена счастливицу Дюбуру, часовой мастер был завален множеством безымянных писем, представлявших Дюбура в высшей степени легкомысленным и даже развратным человеком и умолявших Минса отменить решение, исполнение которого будет иметь последствием несчастье его дочери. Часовщик прочел только два или три письма; убедившись, что во всех прочих говорится о том же, он стал бросать их в огонь. Но авторы этих писем все-таки достигли своей цели, и их предостережения не остались без внимания. Были ли содержащиеся в письмах обвинения Дюбура основательны или нет, Минс все-таки решил быть

осторожным, исподтишка следить за образом жизни молодого человека и тщательно изучить его характер, прежде чем вручить ему ту, которая, наравне с сыном, была ему дороже всего на свете. Разумеется, он принял в уважение и мнение о Дюбуре самой Юлии, так что, в конце концов, этому последнему оставалось меньше надежды стать зятем Минса, чем он воображал. Но, может быть, его предположение все-таки осуществилось бы, потому что непринужденное обращение молодого кутилы, его неистощимая веселость, ключом бьющее остроумие остались не без влияния на отца Юлии и заставляли его мягче относиться к недостаткам Дюбура, чем бы это следовало.

Так как сам он о своих планах насчет замужества Юлии ничего не сообщал своему другу Альмарику, то никому, кроме Дюбура, не было известно, на чем, собственно, остановились дела. Этот последний, хотя и питал очень слабую надежду, тем не менее не упускал никакого случая, чтобы не рассказать о своем сватовстве.

Кроме сына и дочери, в семье часовых дел мастера проживала еще хорошенькая и деловитая девушка, на которой лежали второстепенные обязанности по хозяйству. Эта семнадцатилетняя девушка два года тому назад потеряла своих родителей и нашла приют у Минсов. Она всегда очень хвалила своих хозяев, не отзывалась о них иначе, как с величайшим уважением, и в разговоре с приятельницами говорила неодобрительно только о том, что дом часовщика очень походит на монастырь.

Итак, в доме жило четверо, считая в том числе и главу семейства, молва же говорила, что убиты только трое. Следовательно, один из них избежал общей участи; во всяком случае, его не было в то время, когда совершилось убийство, на месте преступления случайно, а может быть и умышленно, чтобы убийце легче было справиться. Кого же могло не оказаться, кроме прислуги? Вероятно, она спросилась и получила позволение провести эту ночь вне дома. Для чего она это сделала — неизвестно. Но это наводило на мысль, что она действовала заодно с убийцей, бывшим, может быть, ее возлюбленным.

Так думали люди, еще ничего верного не знавшие о преступлении, и полагали, что они уже напали на верный след убийцы, не удостоверившись наперед, не была ли девушка в числе убитых. Толпа всегда готова опрометчиво судить, рядить и выводить заключения, не заботясь о последствиях или не взвешивая тщательно факты. Поговорка, что «глас народа, глас Божий», редко оправдывается, и столько же неверной она оказалась и тут. Вскоре стало известно, что рука убийцы пощадила не прислугу.

Убийство за раз трех людей, конечно, во всякое время вещь в высшей степени прискорбная, но когда эти люди пользовались уважением целого города, то такое гнусное дело составляет общественное бедствие. Убедившись, после первых горестных известий, что подозревали невинную, всякий спрашивал своего соседа: «Кто же убийца? и кому же удалось спастись?» Ни у кого не хватило духа отвечать на эти вопросы. Вообще, как раскрылось преступление? Насчет этого последнего вопроса недолго оставались в неизвестности. Не прошло и часа, как все узнали, что о случившемся первым дал знать столяр Альмарик. Этот достойный человек целый день не мог избавиться от страшного предчувствия, что с его соседом и приятелем случилось что-нибудь необычайное, так как в окнах его дома никого не было видно, и в течение целого дня двери не отворялись ни разу. Однако, Альмарик решился подождать до полдня, чтобы как-нибудь удостовериться, не отправились ли соседи в самом деле в какое-нибудь путешествие, как предполагала утром его дочь. Он никак не мог допустить, чтобы они взяли прислугу с собой и оставили дом без всякого надзора. Было уже три часа пополудни, когда столяр направился к дому своего соседа и, несмотря на стук, ему не отворил никто. Он убедился, что заперты были и передние и задние двери. Тогда он поспешил к полицейскому комиссару этой части города и настоял на том, чтобы войти в дом при помощи слесаря. Когда они втроем вошли в кухню, дверь в которую, как и во все остальные комнаты, они принуждены были взломать, то они нашли девушку совершенно раздетой и мертвой в постели. Одеяло, подушка, все было зали-

то кровью, сочившейся из глубокой раны в груди. При таком зрелище Альмарик чуть не упал от испуга и ужаса и, дрожа всем телом, пошел вслед за чиновником в семейную спальню, которую, тем временем, слесарь отворил также. В ней они нашли, как и следовало ожидать, трупы часовщика и его дочери; сына же они нигде не могли отыскать.

Эти подробности успели распространиться в народе, бросившемся к дому столяра, чтобы разузнать дело во всей подробности. Этот последний принужден был, наконец, запереться и не пускать никого, чтобы отделаться от бесчисленных, одних и тех же вопросов со стороны любопытных.

Стало быть, говорилось в толпе, сына часовщика нет среди убитых. Далеко ли тут до мысли, что он, может быть, и был убийцей своего отца? Правда, до сих пор о молодом Минсе никто не говорил чего-нибудь худого; но это как-то упустилось из внимания; он мог совершить множество скверных действий, не дошедших до всеобщего сведения и прикрытых самим отцом. Может быть, этот последний, узнав о какой-нибудь новой проделке своего сына, отказался заглаживать ее деньгами или скрыть по-прежнему; приведенный этим отказом в бешенство, Иосиф Минс убил отца, а вместе с ним сестру и служанку, также знавших о его проделке, и сверх того ограбил отца, чтобы иметь возможность предаваться своим преступным наклонностям.

Итак, молодой Минс стал убийцей и грабителем, не довольствовавшимся одной жертвой, а убившим трех людей, из которых двое были связаны с ним священными кровными узами! Но преступник не рассуждает об этом, лишь бы при помощи своего злодеяния овладеть тем, что даст ему возможность жить для удовлетворения своих порочных наклонностей.

Так рассуждала толпа и делала свои выводы. Глас народа — глас Божий! Насколько прав был этот голос, мы увидим из дальнейшего течения этого рассказа, правдиво составленного из судебных актов. Сначала это было только предположение, вскользь высказанное некоторыми лицами, близкими приятелями Дюбура, но понемногу оно находило все более и более веры, и наконец, чем дальше разно-

силось, тем больше становилось достоверным. Так как люди не боялись самую явную глупость выдавать за истину и отъявленные небылицы признавать за действительные факты, то и это предположение сочли за вероятное, и сначала неопределенный слух постепенно сделался ужасной достоверностью, подвергшей сына всеобщему проклятию. Как будто все соединилось для того, чтобы подтвердить эту молву, облечь ее покровом истины.

Все наличные деньги часовщика, его товар, состоявший из часов, золотых и серебряных цепочек, медалей и других дорогих вещей, равно как и из других ценных предметов — все исчезло. Шкафы и ящики были взломаны и ограблены; в сундуке не оказалось белья, из серебра — всех скольконибудь стоящих и служащих для украшения вещей. Очевидно, преступник делал все это в полной безопасности и имел достаточно времени, чтобы не забыть малейшей безделицы; кроме того, все указывало, что ему очень хорошо были известны и расположение комнат и места, где находились ценные вещи. И подозрение, что молодой Минс был и убийцей, и грабителем, стало вследствие этого обстоятельства несомненной истиной. Если бы сын не был виновен, то, по крайней мере, он должен был быть тут же мертвым или живым, жертвой или мстителем, потому что нельзя было допустить, чтобы это гнусное дело, поразившее весь город скорбью и ужасом, было ему совершенно неизвестно.

Власти, со своей стороны, тоже полагали, что они напали на верный след, придавая на этот раз, как и всегда, веру всеобщей молве. Поэтому, когда преступление было открыто, во все стороны были разосланы приказания об арестовании Минса везде, где бы его ни встретили. Предполагали, что он уже покинул Венессен, тогда еще принадлежавший к непосредственным папским владениям, и отправился в Марсель, Сетту или другую какую-нибудь французскую гавань. Поэтому во все приморские города или местечки были посланы курьеры с описанием примет молодого Минса.

Менее чем через два часа после того, как до властей дошло известие о преступлении, курьеры были уже в пути.

Рассылка сообщений к наместникам соседних провинций была возложена на аббата Сестили. Кончив это занятие, он отправился на площадь, где происходила описанная нами церемония похорон масленицы. Для него не столько важно было заставить народ разойтись по домам, сколько разыскать распорядителя празднества и уговорить его идти с собой в дом убитых. Мы уже видели, с какой предупредительностью согласился Дюбур на предложение своего духовного отца.

Обоим им стоило немалого труда проложить себе дорогу сквозь густые толпы народа, запрудившего все улицы, по которым им было нужно идти. Масса находилась в страшном возбуждении и направлялась к месту преступления, изливая свою ярость в бесчисленных проклятиях и поношениях предполагаемому убийце. Так, в то самое время, как Сестили и его спутник проходили мимо кучки ремесленников и рабочих, один из них кричал своему товарищу:

— Да, да, ты совершенно прав! Это он и есть убийца, и никто другой! Я сейчас же подумал об этом!

Дюбур, полагавший, что эти слова относятся к нему, быстро обернулся к говорившему и, смерив его сверкавшими гневом глазами, спросил запальчиво:

— Почему это вы так уверены, что я убийца? Какие у вас на это доказательства? Сейчас же отвечайте, иначе я...

Конец его речи был прерван и заглушен ремесленником, воскликнувшим:

— С чего это вы выдумали, господин Дюбур? Разве я говорил, что это вы? Я говорю о Минсе, а не о вас!

— Ну да, — отвечал Дюбур, несколько успокоившись. — Это, конечно, другое дело.

Затем он поспешил дальше, чтобы догнать аббата Сестили, ушедшего вперед и ничего не слыжавшего из этого разговора, затерявшегося в шуме и гаме толпы.

Но так как оба ремесленника шли по тому же направлению и недалеко от Дюбура, то в случайную минуту затишья аббат ясно расслышал слова, которыми оба они обменялись.

— Странно, однако же, что Дюбур принял мои слова на свой счет, хотя я и не поминал его имени!

— Ну вот, это вышло просто пустячное недоразумение, — засмеялся другой, — оттого, что Дюбур как раз проходил мимо.

— Что это говорят о вас? — спросил тихонько аббат молодого человека. — Они сейчас называли вас по имени.

— Не знаю, ваше высокопреподобие, — отвечал с некоторой досадой Дюбур, рассердившись на замечание, которое он понял. — Выйдемте поскорее из этой суматохи, — прибавил он поспешно, прибавив шагу и слегка увлекая за собой аббата.

Последний более не расспрашивал и, казалось, разделял мнение своего спутника, потому что согласился с его желанием. Оба пошли далее молча и через несколько минут достигли цели своего путешествия.

VII

В зале, рядом с магазином часовщика, на столе лежали три трупа. Два выходившие на улицу окна были закрыты изнутри гардинами, сама зала освещалась восковыми свечами, бросавшими яркий свет на лица покойников. Лютая смерть нисколько не изменила черты часового мастера: казалось, его застали врасплох спящим. Напротив, труп дочери представлял совсем другой вид. Черты лица молодой девушки были страшно искажены, казалось, они выражали тоску, ужас и отчаяние, и руки были сжаты в кулаки, как будто между ней и убийцей происходила ожесточенная, отчаянная борьба. На ее шее ясно виднелось несколько кровавых подтеков и отпечатков, как будто шея девушки была обхвачена руками убийцы, старавшегося задушить ее, глубоко вонзив в тело ногти и оставив на шее отпечатки. Но Юлия умерла не от задушения, а, подобно отцу и служанке, была убита ножом.

Вокруг стола, на котором лежали трупы, стояли лучшие врачи города, которые должны были произвести осмотр, и члены папского уголовного судилища.

Когда явился генерал-прокурор, аббат Сестили, все присутствовавшие встали со своих мест со знаками глубочайшего почтения; это была почать, возданная не столько его сану, сколько его личному достоинству.

Дюбура же, хотя его и очень хорошо знали, приветствовали, правда, вежливо, но холодно и несколько свысока; в нем видели только свидетеля, от которого вправе требовать несколько интересных, относящихся к делу показаний.

Заняв свое место, аббат обратился к Помору, известнейшему хирургу в городе, и спросил его:

— Исследовали ли вы, милостивый государь, этих трех несчастных? Что вы нашли у них? Нельзя ли передать нам добытые вами о них сведения?

Спрошенный слегка поклонился седобородому священнослужителю и, обратившись к собранию, стал говорить:

— Милостивые государи! Вследствие требования высокодостопочтенного судилища, чтобы мы высказали свое мнение по поводу трех убийств, коих достойные всякого сожаления жертвы мы видим перед собой, мы все пришли, касательно способа, коим совершено преступление, к тому заключению, что смерть этих трех особ причинена посредством режущего орудия, а именно так называемого скотобойного ножа. Ошибка в этом отношении невозможна. Но это еще не все. Я и мои сотоварищи в отношении дочери согражданина нашего Минса открыли новое преступление, которое омерзительнее тройного убийства.

Он на минуту остановился, чтобы перевести дух.

Дюбур, внимательно следивший за словами знаменитого хирурга, быстро вскочил со своего места и воскликнул в смущении:

— Как, милостивый государь? Новое преступление, и над бедной Юлией? Что же это такое?

— Тише, господин Дюбур! — остановил его председатель строгим голосом. — Вы должны только слушать, а не задавать вопросы.

Молодой человек молча снова занял свое место. Но можно было заметить, что его покорило от полученного выговора.

— Можно просить вас продолжать? — обратился председатель к хирургу.

Этот последний поспешил исполнить требование.

— Труп убитой мы подвергли тщательному исследованию, — говорил он, — и это исследование доставило нам неоспоримое доказательство, что убийца, перед тем как убить свою жертву, изнасиловал ее. Несчастливая старалась защититься от нападения, но преступник сжал ей горло, что доказывается видимыми на нем темно-синими пятнами и отпечатком ногтей. Вследствие этого она пришла в бессознательное состояние, и гнусный злодей легко привел в исполнение свое омерзительное намерение.

Крик сильнейшего негодования, величайшего отвращения вырвался у всех присутствующих, и подобно электрической искре перешел к собравшемуся на улице народу, который, не подозревая, истинной причины этого крика, думал, что в доме нашли четвертый труп и по этому поводу разразился также криками.

Один из находившихся в зале полицейских чиновников вышел из дома и сообщил толпе о результатах исследования. Бешеный крик и взрыв негодования против убийцы последовал за этим неосторожным сообщением:

— Где он? Пусть назовут нам его, мы его найдем и сами с ним расправимся! — кричал один гражданин.

— Разумеется! — кричал другой. — Те, что сидят в доме, в конце концов опять выпустят его!

— Правосудие!

— Смерть убийце!

— Выдайте нам его! Мы изрубим его в мелкие куски!

— Он должен трижды умереть, потому что убил трех человек!

— Да, да, ведите его сюда, мерзавца!

Так вопила, кричала, бушевала разноголосая толпа. Напрасно полицейский старался успокоить возбужденные умы: его не слушали.

Шум на улице дошел наконец до того, что в зале ничего нельзя была слышать.

Аббат Сестили нашелся вынужденным отворить окно и обратиться к народу. Махнув рукой, он восстановил тишину, и таково было уважение к набожному старцу, что тотчас же воцарилась почти торжественная тишина.

— Любезные братья, — говорил аббат, — мы еще не знаем наверное, кто совершил все эти ужасные преступления; но поверьте моему слову, как скоро отвратительный злодей попадет в руки правосудия, он будет осужден. И это осуждение будет не легкое, ибо, как страшно было его преступление, так же страшно будет и его наказание. Каждый из нас, высокого или низкого состояния, богатый или бедный, обязан перед лицом этих ужасным образом убитых, перед лицом правосудия, употребить все свои старания, чтобы разыскать злодея. Обещаете ли вы мне это сделать?

— Да, да! — раздались почти единодушно тысячи голосов.

— Прекрасно, любезные друзья, я доволен вами, — начал снова аббат. — Но теперь исполните и другую мою просьбу. Отправьтесь без шума домой, или, по крайней мере, стойте спокойно. Ваш крик и шум затрудняют расследование преступления и не дают нам возможности посоветоваться о том, как отыскать следы убийцы. Итак, возвратитесь домой; быть может, Всемогущий поможет нам скоро достигнуть своей цели. А до тех пор, да хранит вас Бог, друзья мои.

Громкое «браво» было ответом на эту речь, и аббат закрыл окно.

Большинство последовало совету достойного старца и отправилось домой. Остальные стояли кучками и только шептались.

Когда аббат Сестили закрыл окно, заседание в гостиной убитого мастера опять возобновилось.

Дюбур попросил председателя дозволить ему сделать относящееся к делу замечание.

— Говорите, милостивый государь, — отвечал председатель.

— Я расскажу вам все, — начал молодой человек, — и думаю, что мои показания могут послужить к открытию преступника. Господин доктор Помар только что сообщил, что Юлия — мамзель Юлия Минс, — была изнасилована. Если это действительно так, то я более не сомневаюсь, кто совершил все эти ужасные злодеяния... Я его знаю...

— Назовите его! — крикнули все присутствовавшие.

— Но берегитесь, милостивый государь, заподозрить невинного! Помните, что свое показание вы должны будете подтвердить присягой! — сказал предостерегающим тоном председатель, почему-то чувствовавший к Дюбуру антипатию.

— Я это помню, милостивый государь, — отвечал гордо Дюбур, — но я слишком твердо уверен, чтобы иметь малейшее сомнение в том, что мое подозрение падет не на невинного. Итак, преступник — Иосиф Минс, собственный сын убитого. Да, милостивые государи, в таком важном деле я вынужден, как ни тяжело это для меня, подавить всякое чувство дружбы. Правосудие прежде всего; это моя обязанность перед самим собой и перед целым светом; мне повелевает это и Бог, и моя собственная совесть; я должен говорить, я должен исполнить свой долг.

Это самоуверенное заявление было встречено всеобщим молчанием. Только председатель, подававший знаки нетерпения вследствие многоречивости молодого человека, воскликнул с досадой:

— Избавьте нас от этих прекрасных фраз, милостивый государь, и говорите, наконец, дело! Какие у вас доказательства, что виновник — Иосиф Минс?

— Вы увидите это из моего показания, милостивый государь, — отвечал холодно Дюбур и затем, обратившись к собранно, тотчас же продолжал:

— Да, милостивые государи, с той самой минуты, как я услышал из уст высокопочтенного господина аббата Сестили об этих гнусных деяниях, мое подозрение пало на Иосифа Минса, которого я еще вчера считал за своего лучшего друга и с которым я в своем ослеплении думал соединиться еще более крепкими узами. Да и кому могло прийт-

ти в голову, что молодой человек вдруг начнет свое преступное поприще с убийства отца, сестры и служанки? Но теперь я, сначала не веривший в это тройное злодеяние, убедился в нем, когда услышал, что девушка перед убийством была изнасилована. Именно это преступление и превратило мое подозрение в уверенность, что виновный — не кто иной, как Иосиф Минс.

— Из чего же вы это заключаете, милостивый государь? — спросил недоверчиво председатель, когда Дюбур остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело на слушателей его сообщение.

— Из его признаний, — отвечал спокойно молодой человек. — Он, игравший перед светом роль добродетельного героя и часто бранивший меня за мои веселые похождения, так что и я считал его за самого добродетельного и религиозного человека, месяца три тому назад поразил меня откровенным признанием, что он чувствует к сестре преступную склонность. Отправлялись ли мы с ним на прогулку, или находились где-нибудь наедине, мой бедный, заблудший друг только и твердил о своей любви к сестре, о том, что эта несчастная страсть не давала ему никакого покоя и что он, во чтобы то ни стало, должен удовлетворить ее. Сначала я смеялся над ним, так как я обыкновенно все принимаю в виде шутки, но это его очень сердило. Тогда я постарался эту противоестественную страсть в нем побороть нравственными и религиозными увещаниями. Но все мои старания оказались бесплодными, я проповедовал глухому, и вместо того, чтобы утихнуть, страсть этого холерического, дикого, неукротимого человека, не понимавшего всей преступности своей склонности, возгорелась еще более. Наконец, он дошел даже до того, что стал делать целомудренной Юлии бесстыдные предложения, о чем мне эта последняя и призналась вся в слезах, когда я встретил ее однажды необыкновенно бледной и с красными от слез глазами и спросил о причине ее огорчения.

В эту минуту аббат Сестили, с явным вниманием следивший за рассказом свидетеля вместе с другими находившимися в зале, взял из своей табакерки щепотку табака и

установился на ее крышку, как он имел обыкновение делать, когда что-нибудь казалось ему не совсем вероятным.

Дюбур несколько не смутился этим молчаливым знаком сомнения в правдивости его рассказа и очень спокойно продолжал:

— Я счел, наконец, за лучшее средство исцелить своего друга от его несчастной страсти тем, что рассказал об этом его отцу. Бедному человеку сообщение показалось до того чудовищным, что он сначала не хотел мне и верить. Лишь только тогда, когда он спросил об этом дочь, и эта последняя подтвердила все то, что я ему передал, он убедился, и с этой поры стал придумывать, как бы удалить от дочери обезумевшего сына. Вследствие этого между Иосифом и раздраженным отцом дошло до крайне бурной сцены, окончившейся тем, что первый оставил отеческий кров с намерением лишить себя жизни, однако не сделал этого и в тот же день вернулся к отцу и на коленях просил у него прощения. Отец простил его с тем, чтобы он подавил в себе преступную страсть и постарался исправиться.

— Когда это случилось? — спросил председатель рассказчика. — Без сомнения, вы можете в точности припомнить тот день, когда Иосиф Минс хотел лишить себя жизни?

Дюбур, никак не ожидавший такого вопроса, видимо смутился.

— По чести, — отвечал он, запинаясь, — я не могу сказать этого в точности.

— Гм, — заметил председатель, и на его губах заиграла ироническая улыбка, — такого рода необыкновенные происшествия не так-то легко забываются, особенно когда — как в данном случае — играет роль наш закадычный друг. Кроме того, о вас идет слава, что у вас превосходная память.

— Ваша правда, господин советник, — поспешно отвечал Дюбур, тем временем успевший овладеть собой, — и я прошу извинения в оплошности со стороны моей памяти. Но она очень понятна, и причиной тому страшное возбуждение, в которое меня повергла смерть этих столь дорогих моему сердцу людей и вместе с тем ужасное преступление

моего друга. Но меня извиняет еще и другое обстоятельство. В самом деле, обладая превосходной памятью во всех отношениях, я в то же время не способен запоминать ни имен, ни чисел. Поэтому...

— Хорошо, милостивый государь, — опять прервал его председатель, — избавьте нас от этих объяснений и, пожалуйста, переходите к делу.

— Столкновение между отцом и сыном, — начал опять Дюбур, — произошло, надо полагать, 10, 11 или 12 декабря. Вот все, что я могу сказать относительно времени. Господин Минс знал, однако же, своего сына слишком хорошо, и был убежден, что его раскаяние не чистосердечно. Поэтому, чтобы лишить сына всякой возможности питать свою нечистую страсть, он предложил мне руку своей дочери. Так как я давно уже всем сердцем любил Юлию и был уверен во взаимности — девушка призналась однажды, что я был для нее очень дорог — то я с радостью ухватился за это предложение. В согласии со стороны Юлии я несколько не сомневался. Но, к сожалению, я ошибся. Из страха ли перед братом, или по другим, мне неизвестным, причинам, но она упорно отказывалась отдать мне свою руку. Я решился ждать терпеливо того времени, когда Юлия станет уступчивее. Но за это время преступная склонность моего друга к своей сестре не только не утихла, но еще усилилась. Очутившись однажды в комнате наедине с девушкой, он решился сделать на нее безнравственное покушение.

Не будучи в силах освободиться от полупомешанного, она громко закричала. На ее крик прибежал отец и застал детей своих в положении, от описания которого, милостивые государи, я из благопристойности отказываюсь. Довольно того, что господин Минс поспел вовремя, чтобы помешать совершиться преступлению самому гнусному, какое вы можете себе представить. Со слезами на глазах, с пылающими от стыда щеками, Юлия бросилась вон из комнаты, между тем как между отцом и сыном произошла страшная сцена. Вследствие этого Иосиф отыскал меня и сказал: «Отец проклял меня и хочет выгнать из дома, чтобы я никогда не видал ни его, ни Юлию. Но я не могу и не хочу

жить без нее, и если я уйду отсюда, то горе всем тем, кто меня поверг в несчастье, горе и мне самому! Если меня насильно заставляют совершить преступление, кто же тогда виноват? Пусть будет так! Они хотят, чтоб я стал преступником — да будет их воля!» — «Что такое случилось?» — спросил я, побледнев от ужаса. Но сколько я не приставал к нему с расспросами, я не мог ничего более от него добиться.

— Вам следовало тотчас же сообщить обо всем этом властям, — заметил председатель строго, когда молодой человек замолчал. — Это могло бы предупредить преступление.

Аббат Сестили, казалось, также был недоволен поведением своего духового сына, потому что укоризненно сказал:

— По крайней мере, на исповеди вы должны были бы намекнуть мне о заблуждениях вашего друга, сын мой. С Божьей помощью мне, может быть, посчастливилось бы исцелить его от этой роковой страсти.

Дюбур, как бы пристыженный, опустил голову и отвечал, не поднимая глаз:

— Признаюсь чистосердечно, что я заслуживаю этот упрек, и я сам уже укорял себя в этом. Но мне и в голову не приходило, что Иосиф может быть преступником и я считал слова его за пустые угрозы. Да и отец его, сообщив мне о покушении, просил не говорить об этом никому. Правда, если бы я знал, что... О Боже мой!

Рыдания не дали договорить ему; он вынул платок и вытер себе глаза.

— Гм, это дело другое и служит к вашему извинению, — сказал председатель, несколько смягченный и тронутый горем молодого человека. — Когда Иосиф Минс приходил к вам и делал вам свое безумное признание?

— Три дня тому назад. С тех пор я его не видал. Но это, впрочем, и все, что я могу сказать о нем.

Все собрание было в высшей степени поражено всем тем, что оно услышало от Дюбура. Никто не верил в возможность подобного преступления. Ввиду таких подавляющих фактов, вряд ли можно было сомневаться, что не Иосиф Минс сделал это гнусное дело. То обстоятельство, что он исчез, при-

дало тяготевшему на нем подозрению полную достоверность.

— Не можете ли вы сказать, в которую сторону бежал молодой Минс? — снова обратился председатель к Дюбуру.

— К сожалению, не могу, — отвечал этот последний. — Впрочем, — продолжал он, немного подумав, — я припоминаю, что он нередко говорил мне, что в Марселе легко сесть на корабль и уехать. Поэтому, хоть я и не ручаюсь за свое мнение, я думаю, что он нашел убежище в Испании.

Председатель и аббат Сестили стали тихо совещаться между собой.

Во время наставшего вследствие этого молчания Дюбур подошел к труп Юлии и, подняв платок, которым была прикрыта обнаженная грудь молодой девушки, казалось, внимательно рассматривал рану.

— Ах, милостивые государи, — начал он затем снова, — если бы оставалось еще малейшее сомнение насчет виновности моего прежнего друга, то теперь оно совершенно устраняется. Исследуйте эту рану, она нанесена не обыкновенным убийцей. Все здесь присутствующие сведущие люди должны сознаться, что этот презренный отлично знал устройство человеческого тела. Иосиф учился со мною хирургии в парижском Отель-Дье. Он убил сестру одним ударом, поразившим в самое сердце. Так как смертоносное оружие проникло сверху вниз, то кровь излилась в грудь, подавила безжизненный крик и не обрызгала убийцу. Таким же образом ударил он отца, только у служанки он направил оружие иным образом.

Доктора еще раз осмотрели рану и все согласились с мнением молодого человека; они даже высказали удивление, что не заметили этого обстоятельства.

Аббат Сестили, уже пославший уведомление к наместнику Прованса, дал теперь курьеру поручение сейчас же отправиться в Марсель и войти в соглашение с властями этого города о задержании Иосифа Минса, если это еще не поздно.

Затем все находившиеся в зале, в том числе и Дюбур, подписались на протоколе и разошлись.

VIII

На следующий день, при звоне всех колоколов, было совершено торжественное погребение всех трех достойных всякого сожаления жертв. Их сопровождали все жители города, моля Бога о том, чтобы отвратительный убийца попал как можно скорее в руки правосудия.

Непосредственно позади печальной похоронной процессии шел Дюбур и, по-видимому, никак не мог совладать со своим горем, потому что постоянно вытирал глаза носовым платком; шедшие перед ним носильщики неоднократно слышали вырывавшиеся у него слова самого горького отчаяния:

— Боже мой, Боже мой, какому испытанию подвергаешь ты меня!.. О моя бедная, несчастная Юлия, теперь я навсегда потерял тебя!... Будь проклят, презренный убийца, называвшийся моим другом и похитивший у меня самое милое, самое дорогое существо! Будь проклят, и тысячу раз проклят!... Ах, чем я заслужил такое ужасное наказание?

— Бедный малый, — сказал один носильщик тоном сожаления своему товарищу, — он, должно быть, крепко любил ее!

— Ба! — отвечал другой. — Это горе только на первых порах. Он ее скорехонько забудет! Сколько раз видал я это на других на своем веку, и с ним будет то же.

Следом за Дюбуром шел столяр Альмарик со своей женой и дочерью. Его горе было, может быть, истиннее, глубже, чем у молодого человека, хотя он и не выставлял его на показ, а шел себе с поникшей головой, и ни одной слезы не блеснуло на его ресницах.

Достойный столяр и его семья слышали также слова Дюбура. Альмарик только качал головой, а дочь его шептала на ухо матери:

— Лицемер! Его горе не настоящее, иначе он не стал бы говорить так громко, чтобы его слышали люди. Он никоим образом не мог рассчитывать когда-нибудь жениться на

Юлии. Ты можешь мне поверить, матушка, потому что я слышала это от самой Юлии.

Мать ничего не отвечала и только кивнула дочери в знак того, что поняла ее и согласна с ее мнением.

— И кроме того, он обвиняет Иосифа в гнусном преступлении, мерзавец! — горячилась молодая девушка. — Кто знает, может быть, он сам...

— Во имя Пресвятой Девы, молчи, дочка! — прошептала испуганная мать. — Как можно высказывать такие догадки! Ну, если кто услышит? Молчи, молчи, не говори больше ни слова, пожалуйста, Августа!

Молодая девушка не смела продолжать, очевидно, сама испугавшись того, что в волнении и раздражении сорвалось у нее с языка.

Семья Альмарика действительно не верила в виновность молодого Минса; вообще, они были единственные, которые сомневались в этом. Когда один из соседей сообщил столяру о результате совещаний и о возникшем на Иосифа Минса подозрении, Альмарик отвечал, качая головой:

— Как? Полагают, что Иосиф преступник? Да это такая нелепость, какой я не встречал еще в жизни! Молодой Минс, олицетворенная добродетель и набожность, зарезал своего отца, сестру и служанку, да сверх того осквернил сестру? Невозможно, я этому ни словечка не верю, да и вообще никто этому не поверит, кто его знает так же, как я. Я никогда не замечал, чтобы Иосиф был со своей сестрой нежнее, чем это брату следует.

— Однако Дюбур уверял, что Иосиф чувствовал к Юлии сильную страсть, — возразил сосед.

— Дюбур солгал или ошибся! — вспыхнул Альмарик. — Моя дочь была с Юлией закадычной подругой, она знала все ее тайны, знала бы и об этой безумной страсти.

— Подобного рода вещи обыкновенно не говорят даже между лучшими приятельницами. Но допустим, что вы правы, разве не удивительно, что о молодом Минсе ни слуху, ни духу?

— Разумеется, это меня удивляет, но на это у меня есть свои соображения.

— Какие же? — любопытствовал сосед.

— Гм, не знаю... но у меня темное предчувствие, что и с ним случилось несчастье.

— Разве вы думаете, что и он зарезан? Если бы так, то где-нибудь нашли бы его труп.

— Кто знает, может быть, и найдут еще? Но не станем, сосед, придумывать еще худшее. Впрочем, мне это и в голову не приходило. Напротив, я думал, что Иосиф, так как он учится в Париже, ехал домой, дорогой вдруг захворал и где-нибудь нашел такое пристанище, куда не дошел еще слух о преступлении.

— По правде сказать, ваши предположения, может быть, и справедливы. Но пока он не покажется или не будет о нем вестей, его будут считать виновным. По крайней мере, так думает целый город.

— Да пускай их! Я остаюсь при своем мнении и стою за его невинность. Во всяком случае, он скоро даст о себе весть и докажет свою невиновность. Да хранит вас Бог, сосед!

С этими словами соседи расстались.

Альмарик ошибся, полагая, что молодой Минс скоро отыщется.

Отправленный папским генерал-губернатором Сестили в Марсель посол через две недели после похорон вернулся назад без всякого успеха; он ничего не мог разузнать о преступнике. Подобного же рода известия получались из Сетты, Арля и других городов: нигде не оказалось человека, носящего приметы Иосифа Минса.

Сам папский легат ревностно занимался этим делом и употребил все средства, чтобы отыскать следы преступника. Винчентини писал и парижскому полицмейстеру Сартину, но получил короткий ответ: «Разыскиваемый вами молодой человек до сих пор не встречался и вряд ли покажется здесь. Ищите, пожалуйста, в Авиньоне».

Его и искали, но тщетно. Все-таки местные розыски властей значительно облегчились тем, что им охотно содействовал каждый обыватель. Для всех было важно поскорее отыскать преступника и передать его правосудию. Обысканы были все углы и закоулки, все монастыри и уединен-

ные места с самой кропотливой добросовестностью, но Минса не находили нигде и, наконец, пришли к убеждению, что он давно скрылся из Авиньона и нашел убежище в Испании.

.

Со времени убийства прошло уже два месяца. В последних числах апреля папский легат пригласил к себе во дворец на празднество некоторых самых знатных жителей из города и окрестностей.

Между гостями находился и знаменитый доктор из Монпелье, лечивший жену часовых дел мастера во время ее последней болезни и стоявший с последним на дружеской ноге. Его глубоко потрясло известие об убийстве близкой ему семьи, и он откровенно высказывал это присутствовавшим гостям. Разговор между этими последними вращался, разумеется, лишь о подробностях преступления и о невозможности поймать виновного; вообще в Авиньоне ни о чем больше не толковали.

— Сознаюсь откровенно, мои почтенные собеседники, — прибавил доктор, — что сначала я считал невозможным, чтобы Иосиф Минс мог совершить ужасное преступление. Но теперь я не сомневаюсь в сто виновности.

— А, в самом деле? — воскликнули с разных сторон. — Разве вы что-нибудь узнали, любезный доктор?

— У вас, без сомнения, есть доказательства его виновности? — спросил в изумлении один из гостей.

— Этого, положим, нет, — возразил доктор, — но я считаю ее весьма вероятной, потому что все обстоятельства говорят за это. Сегодня я встретил некоего Ланглада, который рассказал мне все дело во всех его подробностях. Я думаю, что если бы сын убитого не был виноват, то он должен был бы явиться, чтобы отомстить за отца и сестру.

— Ланглад! Кто это — Ланглад? — воскликнул папский легат, только что подходивший к группе, среди которой находился доктор. — Я где-то уже слышал это имя, но не пом-

ню, когда и при каких обстоятельствах, — прибавил он, задумавшись.

— Очень может быть, — отвечал доктор. — Ланглад — студент, усердно посещавший в Монпелье в прошлом году мои лекции. По его словам, — он живет в настоящее время в этом городе, — был ближайшим другом семейства Минсов и больше всех был поражен его убийством, потому что намеревался на дочери...

— Вы ошибаетесь, любезный доктор, — перебил его с полуулыбкой легат, — нам всем известно, что мамзель Минс была почти что помолвлена с Дюбуром.

— Извините, ваше высокопреподобие, если я осмелюсь противоречить вам, — отвечал доктор совершенно уверенным тоном, — я знаю это от самого Ланглада, и так как молодой человек мне известен за весьма правдивого, то я и не имею никаких причин сомневаться в его словах.

— Гм, — заметил легат, — тогда или Дюбур солгал, или же он и ваш Ланглад одно и то же лицо.

— Это может быть, — отвечал, улыбаясь, доктор, — но я не знаю никакого студента Дюбура, а Ланглада, и потому должен стоять на своем.

— Это дело легко выяснить, — заметил Винцентини. Затем, обращаясь к подходившему аббату Сестили, он сказал:

— Любезный аббат, будьте так добры, прикажите сию же минуту позвать ко мне Дюбура.

Старец удалился, чтобы передать находившемуся в передней караульному офицеру приказание легата, а прочие обменивались своими мнениями насчет только что происходившего разговора и нетерпеливо ожидали развязки этой загадки. Их любопытство скоро должно было удовлетвориться, потому что отправившийся на дом к Дюбуру офицер встретил молодого человека в одной из ближайших к дворцу улиц. На приглашение офицера идти с ним он, правда, пробормотал что-то о крайне нужных, неотложных делах, но из опасения навлечь на себя немилость папского легата, он все-таки под конец согласился немедленно исполнить его приказание.

Офицер тотчас же провел Дюбура в столовую.

Завидев дружески кивавшего ему доктора, молодой человек на минуту переменялся в лице и, ошеломленный, отступил на шаг назад. Но в следующую же минуту он переислился свое смущение и с дерзкой, несколько насмешливой улыбкой обвел глазами блестящее собрание, большинство которого было ему знакомо.

От пронизательного взора папского наместника не укрылась ни внезапная краска вошедшего, ни его минутное смущение. Нахальный вид, которым он старался скрыть это последнее, очевидно, произвел на Винчентини дурное впечатление; однако он подавил свое неудовольствие и обратился к молодому человеку с резким вопросом:

— Как ваше имя, милостивый государь, Дюбур или Ланглад? Которое из них настоящее?

— И то и другое, монсеньор, — отвечал спрошенный, дерзко встречая испытующий взгляд князя церкви. — Я...

— Как? — несколько запальчиво перебил его Винчентини. — Нельзя же носить два имени? Или, может быть, у вас их несколько, особое для каждого города, и вы меняете их, смотря по надобности?

Этот сделанный легатом насмешливый вопрос сопровождался пронизывающим взглядом.

— Ваше высокопреподобие, извините меня, — робко возразил Дюбур, несколько растерявшийся при этих словах, — кроме этих двух имен, я никогда не употреблял другого, а на эти, я полагаю, имею полное право; а что касается до моих намерений, то...

Винчентини опять перебил его, но на этот раз уже несколько мягче:

— Каковы бы ни были ваши намерения, молодой человек, вы должны понимать, что вы на себя бросаете тень, нося два имени, потому что принадлежать вам может только одно. Как-то странно, если не подозрительно, что в одном городе вы называетесь Дюбуром, а в другом Лангладом; это невольно наводит на предположение, что вы совершили что-нибудь противозаконное и, вследствие этого, чтобы избежать преследования властей, переменили свое имя.

Дюбур внезапно побледнел и опустил глаза.

— Монсеньор, — сказал он, запинаясь, — даю вам честное слово... я ничего такого не делал, что бы... походило на преступление.

— Верю, молодой человек, — возразил с полуулыбкой легат, истолковавший бледность Дюбура сделанным ему выговором. — Ваше поведение в этом городе нам известно и хотя оно свидетельствует о большом легкомыслии, но до сих пор вы оказывали закону должное уважение. Я хотел только показать вам, к каким предположениям может повести ваш безрассудный образ действий. Но оставим это, отвечайте мне чистосердечно на мой вопрос: как ваше настоящее имя?

Сравнительно более мягкий тон Винчентини дал Дюбуру возможность вздохнуть свободно; с его сердца свалился камень. Пропать, только что было открывшаяся под его ногами, готовая поглотить его, снова закрылась. На минуту покинувшие его самоуверенность и дерзость снова возвратились к нему, и с облегченным сердцем он ответил:

— Мое имя — Ланглад. Присутствие доктора, лекции которого я посещал целый год, доказывает мне, что ваше высокопреподобие имеет на этот счет верные сведения, да кроме того, к чему мне и лгать?

— Ну, а зачем же вы солгали, приняв не принадлежащее вам имя? — серьезно спросил Винчентини.

— Прошу извинения, монсеньор, — возразил молодой человек, — но я думаю, что вашему высокопреподобию объяснили, что на это имя я имею некоторое право, потому что это имя моей матери.

— Допустим, что вы имеете право носить его, с чем я, однако, не согласен, но что вас вдруг заставило называться именем вашей матери?

При этих словах папский легат устремил на Дюбура строгий инквизиторский взгляд, который тот, однако же, выдержал, не моргнув глазом.

— Монсеньор, — отвечал он спокойно, — присутствующий здесь доктор может засвидетельствовать, что я не мог действовать иначе, чем я действовал, вследствие чего я и

был принужден, хотя и не по доброй воле, переменить имя. Далее господин доктор засвидетельствует, что дело чести, имевшее печальный исход, заставило меня как можно скорее оставить Монпелье, где я учился и в котором мне хотелось остаться.

— Ну, а что это за дело чести? — спросил Винчентини с напряженным вниманием, когда молодой человек, взглянув на кивавшего ему доктора, замолчал.

— Это дело чести, ваше высокопреподобие, — отвечал Дюбур, — заключалось в том, что один мой мнимый, как оказалось, приятель, — до сих пор я не умел выбирать себе друзей — постарался, распустив обо мне низкую клевету, отбить у меня молодую, прекрасную и богатую девушку, на которой я хотел жениться. Вследствие этого между нами произошла крупная ссора; мой, так называвшийся, друг осыпал меня бранью до такой степени, что я, в бешенстве, ударил его в лицо. О мирном окончании ссоры нечего было и думать; спор между нами должна была решить шпага. Драться мне, все-таки, не хотелось не потому, что я боялся быть убитым, но потому что данную клеветнику оплеуху я считал самым лучшим наказанием, а также и потому, что мне было в высшей степени противно проливать кровь человека, который, несмотря на свой подлый характер, был все-таки таким же Божьим созданием, как и я.

— Но мое колебание, — продолжал Дюбур, мрачно глядя перед собою, — сделанные мною попытки избежать поединка, мой противник истолковал себе трусостью. Распуская обо мне двусмысленные слухи, отпуская, при встрече со мной, ядовитые, колкие насмешки, он сумел возбудить во мне с трудом сдерживаемую ярость, так что я, чтобы не сделаться посмешищем друзей и знакомых, вынужден был согласиться на дуэль. Я схватился за шпагу и... убил недостойного клеветника. Пусть будет небо свидетелем... я не желал смерти своего противника, — прибавил Дюбур глухим голосом и, казалось, сдерживая рыдания.

На глазах тронутого аббата Сестили заблистали слезы при взгляде на молодого человека.

— Утешься, сын мой, — проговорил он, — так было угодно Богу и потому тебе и отпущены были грехи твои.

— Ваша правда, ваше преподобие, — отвечал Дюбур с горечью, не взглянув, однако, на седовласого священнослужителя, — однако в часы уединения совесть слегка укоряет меня. Но позвольте покончить мою исповедь.

Затем, глубоко вздохнув, он продолжал в прежнем тоне:

— Я был поражен как громом, убедившись, что мой противник убит. Я считал себя за убийцу и хотел добровольно отдаться в руки человеческого правосудия, чтобы искупить свой тяжкий грех. Но это решение, принятое в минуту глубокого отчаяния, продлилось недолго; во мне снова пробудилась жажда жизни, мне не хотелось умирать, по крайней мере, я содрогался при мысли, что я должен принять смерть от руки палача, к которой меня бы наверно присудили, если бы я отдался па произвол властей. Чтобы избавиться от этого, я нашел убежище во владениях святого отца. И здесь-то, монсеньор, чрез посредство одного из своих самых ревностных и благочестивых служителей, высокопочтенного аббата Сестили, Бог простил мне мое согрешение. Ему я покаялся в своем тяжком грехе, он был дружеским, добрым советником, утешителем и помощником и дал мне отпущение. Я покаялся, и только во избежание худой славы, которая всегда следует за такими делами чести, я переименовал свое имя Ланглад на Дюбур. Вот и все, ваше высокопреподобие, что я могу вам сказать, — закончил молодой человек свое признание, робко поднимая глаза на папского легата.

Обращаясь к врачу, этот последний спросил:

— Вам известна эта дуэль, любезный доктор?

— Да, монсеньор, она подняла большой шум в нашем городе и потому уже, что убитый принадлежал к одной из известнейших у нас семей.

— Можете ли вы подтвердить по совести, что молодой человек, как он говорит нам, старался избегать дуэли? — продолжал спрашивать Винчентини.

— Не только это, — отозвался спрошенный, — но я должен даже объяснить вашему высокопреподобию, что Ланглад вел себя при этом очень благородно; он пощадил своего противника, потерявшего жизнь только потому, что в слепой ярости он сам наткнулся на шпагу.

— Так что эту дуэль можно считать за несчастный случай?

— Так точно, монсеньор.

— Благодарю вас, господин доктор, — отвечал папский легат и, обращаясь к молодому человеку, прибавил:

— Хорошо, милостивый государь, я доволен. Только теперь называйтесь уже своим настоящим именем.

— Но, ваше высокопреподобие, — вставил боязливо Дюбур, — если правитель Лангедока узнает, что я здесь, то может быть...

— Ничего не бойтесь, господин Ланглад, вас не выдадут, святой апостол Петр сумеет защитить вас.

Сказав несколько слов благодарности, молодой человек удалился.

— Слава тебе, Господи! — пробормотал, он, выйдя на улицу, — я счастливо выбрался из этих тисков. Нужно же было явиться сюда этому проклятому доктору! А может быть, это еще и к лучшему... Гм, нельзя знать... но теперь нужно вдвое держать ухо востро!

По уходе Дюбура из дворца, гости Винченнины стали говорить о его дуэли и о нем самом.

— Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, — признался легат аббату Сестили и некоторым из своих ближайших знакомых, — но мне сдается, что этот Ланглад не совсем непричастен к преступлению, совершенному над семейством Минсов.

При этих словах начальника, аббат в испуге отступил на шаг назад, а другие гости, услышав это, взглянули на него с изумлением.

— Монсеньор, — возразил седовласый священнослужитель заметно дрожащим голосом, — вы высказали страшное подозрение. Как это оно могло прийти вам в голову?

— Я и сам не могу дать себе в этом отчет, — ответил задумчиво Винчентини, — может быть, этому причиной дурное впечатление, произведенное на меня молодым человеком, когда я его увидал в первый раз. Ведь говорят, что первое впечатление самое верное.

— Не всегда же, монсеньор, — отвечал аббат со слабой улыбкой, — именно в этом-то отношении обыкновенно чаще всего и ошибаются. Что касается до меня, то я, правда, считаю его за очень легкомысленного человека, но не за преступника.

— Этого и я не хотел сказать, — возразил Винчентини. — Я хотел только дать понять, что ему, может быть, не совсем незнакома личность убийцы Минсов, но что у него есть причины никому не говорить об этом. Но не будем рассуждать об этом, а то, пожалуй, испортим себе весь ссегодняшний вечер. Можно просить вас за стол? Ужин уже готов и мы задерживаем гостей.

С этими словами он направился к столовой. Окружавшие его гости отправились за ним. Начался ужин, и вскоре зала снова огласилась тостами за здоровье радушного виновника пиршества.

IX

Буря еще не миновала, как полагал Ланглад — так мы будем отныне называть Дюбура. Напротив, настоящая опасность только еще начиналась.

Накануне того дня, когда папский легат устроил у себя для знатнейших жителей города пир, он поручил офицеру своей лейб-гвардии сделать розыски о поведении Ланглада со времени прибытия его в Авиньон. Эти розыски производились, разумеется, так осторожно, что тот, кого они касались, и не подозревал этого. Но собранные Винчентини сведения далеко не оправдывали родившихся у него подозрений насчет молодого человека, напротив, они устранили их совершенно.

Собранные же офицером данные относительно Ланг-лада были следующие.

Молодой человек прибыл в Авиньон 20-го октября прошлого года и нанял себе небольшую комнатку у одного дальнего родственника убитого часового мастера. Мартино — так звали этого родственника — был смирный и честный человек, и отозвался о своем постояльце с наилучшей стороны. Он уверял, что молодой человек далеко не заслуживает никакого недоверия и что, насколько он его знает, он не заметил за ним решительно ничего худого. Его прилежание, хорошее поведение, частое посещение храмов, все это говорит за его хороший характер и совершенно устраняет всякое недоверие, почему бы то ни было возникшее по отношению к нему. «А те глупости, которые он выделял во время масленицы, не заслуживают, — говорит он, — никакого внимания». На вопрос, не помнит ли он, не заметил ли в среду на первой неделе великого поста утром у своего постояльца каких-нибудь признаков необыкновенного возбуждения, торопливости или боязливости, Мартино отвечал, что ничего подобного он не заметил. Только услышав об ужасном преступлении, он сделался «совершенно вне себя» и громко рыдал. Но он утешал его, сколько мог, и тот наконец стал поспокойнее.

— Никогда, с тех пор, как Ланглад у меня живет, — дополнил Мартино свои показания, — не видал я его возбужденным больше обыкновенного; у него такой характер, что все дурное на него легко действует. Вещи, которые расстраивают других людей на целый день, не производят на моего постояльца почти никакого впечатления. Так, например, в ноябре прошлого года он отправился на небольшую прогулку в окрестностях города и вернулся с нее поздно вечером. Когда он вернулся, я случайно еще не ложился спать. Я хотел было посмеяться над ним и спросить, в какой гостинице он засиделся так долго, как к немалому своему испугу заметил, что из-под шапочки у него выступило несколько капель крови. «Пресвятая Дева, — крикнул я в ужасе, — вы ранены?!» И знаете ли, что он на это сказал? Как будто ни в чем не бывало, он отвечал мне со смехом:

«Ба, пустяки, небольшой рубец. На возвратном пути на меня напал какой-то мошенник и сильным ударом по голове сшиб с ног. Я потерял сознание, негодяй воспользовался и основательно очистил мои карманы. Вот, посмотрите», сказал он, выворачивая карманы, «он мне не оставил ни гроша. Но сделайте одолжение, не говорите об этом происшествии никому ни слова; мне не хотелось бы, чтобы этот бедный леший попал под суд; может быть, его нужда заставила совершить это преступление». Ланглад рассказывал мне все это шутливым тоном и еще смеялся над этим грабежом, тогда как кто-нибудь другой или я, по крайней мере, заболел бы от одного страха. Свое обещание не говорить об этом я до сих пор держал, а сегодня потому только и рассказал, чтобы спасти честь своего постояльца и доказать вам его прекрасный характер.

— Гм, — заметил аббату папский легат, когда офицер кончил свой доклад, — мое недоверие к вашему духовному сыну нисколько не уменьшилось, даже некоторым образом усилилось. Кто извиняет чужое преступление, тот в состоянии сделать то же. По крайней мере, его образ действия доказывает преступное легкомыслие.

Седовласый священнослужитель красноречиво защищал своего клиента, но сколько ни старался, не мог победить предубеждения, которое Винчентини питал к нему.

Поэтому Винчентини не удовольствовался свидетельством Мартино.

— Без сомнения, — думал он, — этот добродушный человек введен в заблуждение. Ланглад сумел воспользоваться его легковерием, чтобы оградить себя от всяких подозрений.

В его памяти воскресло воспоминание о преступлении, совершенном над Раулем Бонгле, недавно сообщенном ему. Он было совсем забыл о нем; но теперь он вспомнил, что оно случилось также в ноябре прошлого года.

— Странно, очень странно! — продолжал думать легат. — И Ланглад говорит, что на него напали под городом в это же время. Может быть, его рассказ и верен; но может быть, он и выдуман, и сам он принадлежит к той шайке разбой-

ников, которая тогда напала на Рауля Бонгле. Следовало бы дать им обоим очную ставку. Но нет, — перебил он сам себя после некоторого размышления, — это ни к чему не повело бы. Возможно, что Бонгле не узнал бы своего грабителя, а Ланглад, если он этот самый злодей и есть, постарался бы тайным образом спровадить свою жертву, которую он не считает в живых. Покамест я должен ограничиться тем, что стану собирать доказательства вины или невинности молодого человека и велю не спускать с него глаз.

Вследствие этого, папский легат опросил всех тех свидетелей, которые видели Ланглада в тот самый день, когда Мннсы были найдены убитыми, за день перед тем, и день спустя, или которые имели с ним дело в каком бы то ни было отношении.

Из показаний более ста человек выяснилось, что молодой человек, в ночь убийства, был в трех разных местах на балу; на каждом из них являлся в другом костюме, всегда снимал маску, при этом проделывал тысячу глупостей, много шутил, смеялся и забавлял целое общество остротами, игрой слов, одним словом, казался всем разудалым и способным на всякие штуки юношей. Все свидетели показали единодушно, что им никогда не приходила и мысль в голову, чтобы Ланглад мог совершить преступление или быть в нем соучастником.

Столяр Альмарик был также допрошен. Он рассказал все то же, что мы уже сообщали в первой главе нашей повести. «Я даже мог по чистой совести, — говорил почтенный столяр, — поклясться в том, что господин Дюбур, или по-настоящему Ланглад, как я узнал к своему удивлению, совершенно невиновен. Он через меру легкомыслен, за что я ему часто выговаривал и просил, чтобы он поменьше делал глупостей, но я считаю его неспособным на гнусное преступление, в котором его подозревают. Я готов присягнуть, что он ничего не знал об убийстве, потому что он стучался в дверь того самого дома, где лежали уже три трупа; он, очевидно, не знал ничего об убийстве, потому что, когда несмотря на стук его не впустили, то он немедленно отпра-

вился в усадьбу господина Минса, чтобы разыскать его там».

Из всего этого следствия Ланглад вышел чист как хрусталь. В папском дворце даже стыдились, что следили за таким прекрасным молодым человеком. Винчентини признался со вздохом, что он ошибся и увлекся предубеждением; что он поступил опрометчиво и должен дело поправить. Чтобы восстановить несколько запятнанное доброе имя Ланглада, почтенный легат счел своим долгом дать ему торжественное удовлетворение и не придумал ничего лучшего, как публично пригласить тяжело оскорбленного молодого человека и почтить его угощением. Ланглад сделался героем дня, никто не смел сказать о нем что-нибудь худое или связывать его имя с ужасным преступлением под опасением немилости со стороны Винчентини. Молодой человек гордился своим счастьем и с торжествующим видом принимал поздравления от всех друзей и знакомых. Но его гордая самоуверенность, его самомнение слишком скоро должны были превратиться в противоположное.

За полгода до начала нашего рассказа в Авиньоне была открыта ложа вольных каменщиков, имевшая тайные заседания в одном, стоявшем в отдалении, доме. Папские власти терпели ее, показывая вид, будто и не знали о ее существовании. Им очень хорошо была известна деятельность этого братства; но так как она ограничивалась сходками два раза в неделю, то Винчентини не считал за нужное препятствовать этому.

В тогдашнее время, когда даже и самые просвещенные люди страдали суеверием, вольные каменщики среди людей набожных не пользовались в народе особенно хорошей славой. Они вообще считались за колдунов, людей, продавших свою душу дьяволу и взамен этого получивших от него дар превращаться, по желанию и надобности, в кошку или собаку. Мяуканье и собачий вой, слышавшийся по соседству с тем домом, где помещалась ложа, по их мнению, было не что иное, как отголоски диких оргий этих чародеев. Еще и в наше время такого рода понятия в большом ходу у провансальских крестьян, и простые люди, встречаясь с кем-нибудь, о ком они слыхали, что он принадле-

жит к благословенному союзу, с суеверным страхом сторонились с дороги. Впрочем, и сами каменщики не упускали случая, чтобы о них в народе распространялись самые нелепые слухи или, по крайней мере, не делали ни малейшей попытки снимать с себя темный и таинственный покров, покрывавший их действия.

Ланглад был также каменщиком, и Иосиф Минс изъявил ему желание также поступить в этот таинственный союз, мистерии которого и темная, скрытая деятельность представлялись для него чем-то романтическим. По его мнению, союз не мог иметь никакой иной цели, кроме хорошей, и перспектива возможности в тиши приносить в качестве члена братства человечеству пользу, всеми силами действовать для его блага, волновала сердце юноши и наполняла сладким трепетом его пылкую душу. В красноречивых, горячих, восторженных выражениях изобразил он перед отцом свое желание и просил его согласия. Но старый Минс, разделявший насчет каменщиков мнение всех прочих граждан Авиньона и убежденный, что союз преследует лишь предосудительные цели, с самого начала был против поступления сына в это общество. Хотя доводы отца отчасти и охладили пыл этого последнего, но Ланглад сумел так заманчиво представить доставляемые ложей наслаждения, что друг его решился в этом отношении не слушать отца и без его ведома поступить в братство.

Мы говорили уже, что каменщики собирались в отдаленном доме. Он стоял в том квартале, где жили самые бедные и нравственно опустившиеся люди, недалеко от ворот св. Роха. В ложу было несколько дверей, выходивших на улицы, состоявшие большей частью то из пустырей, то из садов, обнесенных каменными стенами.

Так как Минс-старик позволил своему сыну ночь со вторника на среду первой недели великого поста провести где ему угодно, то Ланглад устроил, чтобы его приятель в этот вечер сделал свое первое вступление в союз каменщиков. Он уже уведомил ложу, что приведет нового члена, не называя, однако, его имени. Когда собрание с нетерпением ожидало появления нового последователя, Ланглад явился

один и объявил, что тот отложил свое поступление, так как некоторые, не требующие разъяснения обстоятельства заставили его покамест отказаться от исполнения. Собрание успокоилось; об этом не было больше и речи, не спросили даже и имени адепта, и дело было забыто.

Со времени совершенного в доме часовщика убийства прошло уже четыре месяца, и власти потеряли всякую надежду поймать преступника.

Наступил Иванов день, который, как известно, каменщики празднуют совершенно особенным образом. В этот день в ложу собрались все братья и приятели, и, по окончании каменщицких работ и после приличного такому дню поучения, сели за веселый пир.

Ланглад был тут же и в необыкновенно веселом расположении духа. Он забавлял общество разными веселыми выдумками и остроумными анекдотами, заставляя поневоле улыбаться даже самого серьезного человека из собравшихся.

Молодой легкомысленный студент только что отпустил какую-то забавную шутку и в награду заслужил от общества единодушное «браво», как вдруг один из участников, за несколько минут перед тем вышедший из залы, появился в дверях со всеми знаками живейшего смущения в лице и телодвижениях и громко, что есть духу, крикнул:

— Братья, друзья, пойдемте со мною... я... я, кажется... напал на ужасное преступление...

Только что раздававшийся громкий смех вдруг точно осекся; некоторые повставали со своих мест.

— Что вы говорите, брат? — воскликнул Ланглад с припугнутым смехом. — Преступление? Что вы там нашли?

Говоря это, он страшно побледнел и силился скрыть свое смущение.

— Идите же! — торопливо продолжал другой, не обращая внимания на это замечание. — Я покажу вам нечто ужасное. Я был в саду, чтобы освежить свою горячую голову; вижу, что моя собака усердно разрывает в одном месте землю, подбегаю и вижу человеческий палец, потом руку... о, это ужасно!

У говорившего прервался голос, он содрогнулся и повернул к двери.

Все присутствовавшие встали и выбежали на двор.

— Проклятое животное! — пробормотал Ланглад, бледный, как мертвец, идя за другими и дрожа всем телом, неизвестно, от бешенства ли или от страха.

Между тем, выбежавшие на двор вошли в сад, где в отдаленном углу, между деревьями, собака продолжала усердно рыться. На окрик хозяина собака отошла. Один из каменщиков захватил с собой лопату и принялся рыть землю на месте преступления; через несколько минут показался человеческий труп. По бывшей на нем одежде сейчас же узнали, что это было тело несчастного Иосифа Минса.

Несколько минут все присутствовавшие стояли точно пораженные громом, немые от изумления и ужаса. Тогда только они заметили отсутствие Ланглада.

— Где Ланглад? — воскликнул один из каменщиков. — Ему нужно сейчас же сказать об этом ужасном открытии, он должен знать... ведь Иосиф Минс был его друг.

— Он не мог уйти; я видел, кажется, что он шел за нами, — заметил другой.

— Может быть, с ним вдруг сделалось дурно, — сказал третий.

— Да, должно быть, — подтвердил четвертый, — я совершенно ясно видел, как он при вести, сообщенной нам братом Муцием без всякого предуведомления, ужасно побледнел. Он закрылся платком, точно у него вдруг пошла носом кровь.

Казалось, никто еще и не подозревал настоящей причины, почему молодой человек так поспешно скрылся.

— Все равно! — начал опять первый из говоривших. — Его нужно отыскать. Он, верно, отправился домой. Пойдемте к нему, братья!

Не теряя времени, все общество направилось к дому Мартино, где, как нам известно, проживал Ланглад. Когда они дошли до угла улицы, то, к своему немалому удивлению, увидели перед его домом дорожный экипаж и кучера, собиравшегося к поспешному отъезду. Их удивление удвоилось,

когда они заметили в ту же минуту Ланглада, выходявшего из дверей дома и поспешно приближавшегося к экипажу. Молодой человек нес под мышкой сундучок, а в другой руке дорожную сумку. Не обращая внимания на оклики приближающихся к нему каменщиков, он направлялся к дверце экипажа. Но в ту самую минуту, как он хотел вскочить в него, у него выскользнул из-под мышки сундучок и с громким треском ударился о мостовую. От сильного удара о камни, крышка отскочила и все бывшие в сундучке вещи: золотые и серебряные часы, разные сосуды из того же благородного металла и другие драгоценности рассыпались по земле.

При виде этого каменщики, бывшие только уже в нескольких шагах от дома Мартино, остановились на секунду как вкопанные, но в следующую же секунду бросились с громким криком: «Держите убийцу!» к экипажу.

В голове у всех промелькнуло страшное подозрение. Лежащие на мостовой часы и драгоценности, признанные за вещи, похищенные у Минса, поспешное бегство Ланглада, все это стало слишком очевидным доказательством виновности молодого человека, чтобы иметь насчет этого хотя малейшее сомнение.

Улица была малолюдная, на ней лишь кое-когда показывались одинокие прохожие, и покамест они успели понять, в чем дело, Ланглад мог бы давно уже оказаться в безопасности, если бы ему удалось вовремя уйти от своих собратьев.

Увидев угрожавшую ему опасность, он вскочил в экипаж, выскочил с противоположной его стороны и со всех ног пустился по улице, опрокинув двух полицейских, загородивших было ему дорогу.

Добежав до монастыря целестинов, он стал просить, чтобы его впустили, но получил отказ. С отчаянием оглядывался он кругом, — его преследовали, гнались за ним по пятам, со всех сторон сбегался народ, созванный каменщиками, и он, наверное, стал бы жертвой его ярости, если бы в последнюю минуту ему не пришла в голову счастливая мысль.

Точно гонимый фуриями, бросился он снова вперед по улицам к воротам св. Роха. За этими воротами, почти в четверти часа ходьбы от города, стоял монастырь францисканцев. Если его пустят туда, то он спасен, будет в безопасности, по крайней мере на время.

Но за ним гналась разъяренная толпа, и один носильщик уже хотел схватить его, как раскрылись ворота и францисканский монастырь доставил ему убежище. Когда ворота за проскользнувшим преступником закрылись, в толпе раздался рев ярости и тысячи проклятий огласили воздух против ордена, присвоившего себе право укрывать убийцу от земного правосудия. С трудом, при помощи обещания, что Ланглад все-таки будет в руках правосудия, удалось полицейским чиновникам успокоить толпу и уговорить ее разойтись.

Но не так-то легко было исполнить обещание. Одной из особенных привилегий францисканского ордена, бывшего тогда во всей силе, было то, что если преступник прибегал к покровительству ордена, то светская власть теряла над ним всякие права, и он подвергался только суду духовному. Но этот последний наказывал по своим статутам, предписывавшим бичевание и пост, но не допускавшим смертной казни. Последняя применялась только тогда, когда преступление касалось непосредственно церкви, например, за кощунство над причастием, соблазн или изнасилование монахини; в этих случаях преступника замуравливали, то есть закладывали в стену, насмерть. Но так как Ланглад не учинил ни одного из этих преступлений, то было сомнительно, чтобы он подвергся этой последней казни.

Следовательно, светская власть ничего не могла сделать, и как поступить с Лангладом за его преступления, — было предоставлено на произвол францисканцев. Никто не помнит, чтобы убийце удавалось находить у них убежище и покровительство. Но если кто входил в церковь, чтобы схватить преступника, тот подвергался высшей степени отлучения, и ни один человек в Авиньоне не отважился бы на такое чудовищное дело. Поэтому необходимо было выхлопотать разрешение архиепископа и папского легата, за ко-

торым на следующий день и обратились.

Архиепископ, признавая желание народа вполне заслуживающим удовлетворения, недолго думая, дал свое разрешение, легат же встретил затруднение и посланной к нему депутации объявил, что «хотя ему и неприятно, что преступник нашел у францисканцев убежище, но покамест тут ничего нельзя сделать, потому что он не может нарушать прав ордена. Однако, он не против, если его преосвященство возьмет на себя ответственность».

— Хорошо! — сказал архиепископ, когда депутация граждан передала ему решение Винчентини. — Не я буду виноват, если преступник не будет передан светской власти.

И он тотчас же послал настоятелю францисканского монастыря приказ выдать Ланглада.

Но настоятель стал отстаивать его и сослался на свои привилегии.

— Господь Бог открыл убежище у нас этому несчастному и будет судить его по своей благодати. Он более не подлежит земному правосудию.

— Это все равно, — отвечал архиепископ. — Взять его именем церкви и отправить в темницу!

— Но, господин архиепископ, он лежит под самым престолом и я не имею права выдавать его оттуда, — возразил с неудовольствием настоятель.

— Даже если бы он находился в самом ковчеге, — сказал его преосвященство, сильно раздосадованный упорством настоятеля, — я приказываю, чтобы он, несмотря на это, был передан в руки правосудия.

Рассерженный настоятель ушел посоветоваться об этом деле с монахами. Эти последние настаивали, чтобы он не исполнял приказания и по некотором размышлении он согласился с ними. Как подчиненный архиепископа, он должен был его слушать, но так как папский легат, в последней инстанции, не утвердил приказания, то настоятель еще мог оказать неповиновение своему непосредственному начальнику.

Вместе с тем, дело о выдаче Ланглада осталось нерешенным. Не зная о результате переговоров, этот последний стал

уже торжествовать и радоваться придуманной хитрости убежать к францисканцам.

— Они не посмеют меня выдать, — говорил он себе, — и покамест я спокоен за свою жизнь. Таким образом, в своей келье я спокойно дождусь того времени, когда буря уляжется, а тогда посмотрим, как выбраться из этой чертовой ямы, потому что поступать в монахи я не чувствую ни малейшей охоты.

Х

Лангладу скоро пришлось убедиться, что он торжествовал слишком рано.

Прошло уже три дня с тех пор, как он попал в монастырь. Народ громко роптал против легата и настойчиво требовал выдачи Ланглада. Между тем, первый, не желая ни слишком приступать к францисканцам, ни ссориться с гражданами, обдумывал, как бы овладеть преступником. Случай, нередкий сотрудник юстиции, помог и Винчентини.

При обыске квартиры Ланглада, предпринятом тотчас же после его бегства, нашлись, кроме различных принадлежавших убитому часовых дел мастеру вещей, документы «Рауля Бонгле, землевладельца из Карпентра» и, кроме того, требник одного целестинского монаха, по имени Иосиф Делакруа. Как попали к Лангладу эти последние вещи? Не иначе как вследствие грабежа. Эта находка открыла Винчентини глаза. Рауль Бонгле ведь и был тот молодой человек, который в среду на первой неделе великого поста сообщил ему о новой шайке преступников, известной под именем «усыпителей». Нельзя было сомневаться, что Ланглад, убивший четырех человек, принадлежал к той же шайке. Но открытия этого нового злодеяния было еще недостаточно для того, чтобы вынудить у францисканцев его выдачу.

Папский легат, ревностно занявшийся дальнейшим раскрытием прошлого Ланглада, вскоре напал и на другие важные открытия. Год тому назад целестинский монах па-

тер Иосиф Делакруа, занимавший в своем монастыре должность кассира, был послан своим настоятелем с значительной суммой денег в один бедный овернский монастырь недалеко от Ланжака. Деньги заключались в билетах и были тщательно спрятаны между листами требника, снабженного застегками. Так как патер не являлся в место назначения, не возвращался и в Авиньон, то заподозрили, что он с деньгами скрылся, хотя подобное предположение нисколько не оправдывалось его характером. Теперь все стало ясно: несчастный монах был убит и ограблен, и преступление это совершил Ланглад. Найденный в его комнате требник уничтожал всякое сомнение в его виновности. Кровяные пятна, заметные отчасти на крышках, отчасти на листах требника, происходившие, вероятно, от убитого, доказывали с полной очевидностью, что между ним и его убийцей происходила жестокая борьба.

Открытие этого нового преступления дало Винчентини повод требовать Ланглада от францисканцев, не нарушая привилегии ордена, причем исполнилось и желание архиепископа, прежде чем посланный по этому делу к папе гонец успел исполнить данное ему поручение. Францисканцы, узнав об убийстве патера Делакруа, тотчас же передали своего клиента целестинцам для того, чтобы они учредили над ним свой суд за его преступление, но эти последние отказались от принадлежавшего им права в пользу светской власти.

Спустя неделю после того дня, когда палец убитого указал преступника, собралось уголовное судилище, под председательством самого папского легата, творить суд над Иоанном Домиником Лангладом, родом из Ланжака, в Оверни. Он сознался во всех своих преступлениях. Первым из них было убийство целестинского монаха Делакруа, с которым он познакомился в Ланжакском лесу. В разговоре, завязавшемся между ним и патером, Ланглад узнал, что монах идет в Ланжакский целестинский монастырь с важным поручением. По боязливости, с которой монах берег свой требник, преступник заключил, что в нем должно было заключаться большое сокровище, и в голове его родилась мысль ов-

ладеть этим требником посредством хитрости или силой. Под ничтожным предлогом Ланглад простился с монахом, и вечером того же дня спрятался в кустах, чтобы подстеречь его. Тут он напал на несчастного, после короткой борьбы убил и, взяв требник, зарыл труп на месте злодеяния.

За первым шагом на пути преступления в ноябре месяце того же года последовал другой, грабеж землевладельца Рауля Бонгле, подробности которого уже известны читателю. Будучи спрошен о соучастниках в этом преступлении, Ланглад отвечал, что он их не знает. Документами своей жертвы он хотел воспользоваться при случае, чтобы по мере надобности вынуждать от его родственников значительные суммы денег, но до сих пор не привел в исполнение это намерение. Когда ему показали мнимо умершего, то он думал, что перед ним привидение, и упал в обморок. Вследствие этого допрос был на короткое время отложен.

Что касается до последнего и самого ужасного своего преступления, увенчавшего все остальные, то злодей рассказал следующее:

Он прибыл в Авиньон с намерением покончить с преступной жизнью и стать честным человеком. Придя раз в церковь, он увидел Юлию Минс и почувствовал к ней безумную любовь. При посредстве некоторых знакомых, он нашел доступ в семейство часовых дел мастера и таким образом узнал и о его богатстве. Это еще более подкрепило его в намерении добиться руки Юлии. Посредством лицемерия, он сумел расположить к себе и старика Минса, и его сына. Но все его старания разбились о непоколебимость девушки, чувствовавшей к нему непреодолимое отвращение, и однажды — это было в январе месяце — наотрез объявившей ему, что он не должен рассчитывать когда-либо назвать ее своей. В этот-то день, раздраженный ее упорством, он поклялся отмстить ей и путем преступления овладеть тем, чего не мог добиться законным образом. Желание Иосифа Минса поступить в союз вольных каменщиков доставило презренному негодяю желанный случай привести свое намерение в исполнение. Вечером, в великопост-

ный вторник, он повел Иосифа Минса в ложу, в которой, по его словам, уже состоялось собрание. Когда они подходили к саду, стало уже темно, и тут-то Ланглад заколол того, кого называл своим другом; потом вырыл яму и закопал труп. Из кармана убитого он вынул главный ключ, которым отпирался не только дом старика Минса, но и все комнаты, и тот же самый нож, которым он убил сына, нанес смертельный удар отцу, дочери и служанке. Убийца начал с последней. Она только начала раздеваться, когда Ланглад, снявший для того, чтобы не быть услышанным, башмаки, прокрался через полуотворенную дверь в кухню, задул огонь и одним ударом в живот положил на месте ничего не подозревавшую девушку. Его второй, или скорее третьей жертвой сделался сам старик Минс, убитый в грудь. Юлия, как и отец, спала уже мертвым сном, когда убийца подошел к ее кровати, держа в одной руке окровавленный нож, заколовший уже трех человек, а в другой горящую свечу. Полный свет ее он направил на спящую и его взорам, исполненным сладострастия и жажды убийства, представилась ее почти обнаженная, вздымающаяся грудь. В эту минуту девушка сделала беспокойное движение и прошептала сквозь одолевавший ее сон: «Иосиф, это ты?» — «Да, сестрица!» — отвечал Ланглад, поддельвая голос. Юлия больше не сказала ни слова, потому что, вероятно, снова заснула. И этой-то минутой воспользовался злодей, чтобы совершить свою гнусную месть. Поставив свечу на стол и положив смертоносное орудие на стоявший у изголовья стул, он быстро сдернул с своей жертвы одеяло и бросился на нее. В этот момент молодая девушка проснулась; но было уже поздно, она не могла столкнуть с себя Ланглада, крепко схватившего руками ее шею и глубоко вцепившегося в нее ногтями. Глухой крик вырвался из ее груди и она потеряла сознание. У злодея было достаточно времени, чтобы насытить свою скотскую страсть и затем прикончить свою жертву ударом ножа. После этого, забрав наличные деньги, драгоценности и разные другие ценные вещи, он убежал — веселиться! Между каждым из своих появлений на балах и переменею костюма он ходил в дом убитых, и

всякий раз уносил с собой узел всего, что только мог найти: часы, деньги или какие-нибудь ценности. В уголовных летописях всех времен и народов вряд ли можно найти такой пример, чтобы человек, только что совершивший четыре убийства, посещал балы, танцевал, смеялся и забавлял всех своими остроумиями и шутками. Посещение трех балов, троекратное переодевание, посещение утром часового мастера и громкий стук в его двери, обративший внимание столяра Альмарика и других соседей, наконец, прогулка в деревню Воклюз: все это было сделано, чтобы отклонить от себя подозрение.

Ланглад сознался во всех этих подробностях, не обнаружив ни малейшего признака раскаяния. С истинно дьявольским наслаждением остановился он на описании совершенного над Юлией Минс злодеяния, так что у собравшихся в зале суда мужчин, между которыми находился и честный столяр, вырывались крики отвращения, и председатель не раз был вынужден уговаривать их успокоиться; присутствовавшие же тут женщины, большей частью жены и дочери высших сословий, закрывали лицо, чтобы скрыть заливавший их румянец стыда при рассказе об этих мерзостях.

Преступник выслушал решение, равнодушно и нахально поглядывая на публику. Решение же состояло в следующем:

«Иоанн Доминик Ланглад, именовавшийся также Дюбуром, родом из овернского Ланжака, 26 лет, обвиненный, уличенный и доведенный до сознания, что он

1) На его преподобие, целестинского монаха Иосифа Делакура, из авиньонского монастыря святого Целестина 10 января 176... г., в лесу на дороге из Делоне в Ланжак, напал, убил его и ограбил;

2) Землевладельца Рауля Бонгле из Карпентра, 16 ноября того же года, близ Авиньона, посредством усыпительного напитка, привел в бессознательное состояние, означенного Бонгле ограбил и покушался убить его, но соизволением Божиим и при великодушной помощи здесь присутствующего столяра Альмарика, гражданина нашего дос-

топочтенного города, не был попущен, на благо пострадавшего, так что умышленное преступление явилось лишь покушением на убийство;

3) Убил сына часовых дел мастера Минса Фонбарре, здешнего гражданина по имени Иосиф Минс, 10 февраля 1768 года, в саду ложи вольных каменщиков у ворот Св. Роха;

4) Равным образом проник в дом часовых дел мастера Людовика Флорентина Минса Фонбарре, гражданина нашего города, убил его и ограбил;

5) Равным образом дочь его Юлию, убил, совершив наперед над нею изнасилование;

6) Равным образом убил служанку названного часовых дел мастера, Катерину Дюпре.

Ввиду всех сих шести преступлений, поименованный Ланглад сего числа осужден на смерть и справедливым признано, чтобы он, Ланглад, во искупление совершенных им злодеяний, на площади Сен-Дидье перед распятием принес всенародное покаяние, был сведен на площадь перед папским дворцом, чтобы там, разбивши ему через палача ноги, живьем колесовать его тело и затем оставить на эшафоте, пока не последует смерть.

После того отрубить ему голову, положить ее в клетку и выставить на позорище на городской стене у Ронских ворот. Тело же выбросить в поле на съедение хищным птицам.

Постановлено в Авиньоне, в лето от Рождества Христова 1768, 13 сентября»*.

Это жестокое, сообразное с тем варварским временем, но справедливое решение, подписанное папским легатом Марино Винчентини, архиепископом Авиньонским, аббатом Сестили и бывшими присяжными при этом замечательном процессе судьями, было во всей точности исполнено над Лангладом, громко вывшим от боли, когда ему разбивали члены. Ужасны были его преступления, но не менее ужасна была и понесенная им за это казнь. Она продолжалась целых десять часов, пока смерть не положила конец его

* В действительности Ланглад был казнен 13 апреля 1768 г.

презренной жизни. Он принял эту смерть, отвергнув утешения религии, ибо и подходивших к нему монахов и даже своего духовного отца, аббата Сестили, увещевавшего его покаяться, он послал ко всем чертям, доказав этим, что он никогда не относился к религии серьезно, пользуясь ею только для прикрытия своих преступлений.

— Кто бы мог это подумать! — говорил в тот же день после казни своей дочери столяр Альмарик. — Я считал Дюбура за очень легкомысленного молодого человека, но мне и во сне не снилось, чтобы он был такой страшный злодей и что он совершил такие ужасные преступления. Теперь я ясно понимаю, почему, когда в великопостную среду утром я разговаривал с ним и случайно упомянул об «эшафоте», он вдруг страшно побледнел. Но до сих пор еще страшно вспомнить, что я так дружески разговаривал с этим шестикратным убийцей, — прибавил, содрогаясь, честный Альмарик.

— Утешьтесь, любезный друг, — сказал Въендемор, вошедший в эту минуту в комнату и услышавший последние слова своего хозяина, — и с другими не лучше. Бог дал вам спасти хотя одну жертву этого злодея, за что я вечно останусь вам благодарным. Забудем о нем: он умер, не искупив свои преступления. Но перст убитого, это немое «Мани — Факел — Фарес»* карающего Бога, указал из могилы на убийцу своего и всей его семьи, молчаливо, но красноречиво сказав: «Это он!» и предав его человеческому правосудию.

— И в самом деле, — заметил Альмарик, сложив руки, — вы сказали истину — во всем этом следует признать Провидение Божие. Мир освободился от человека отверженного, и теперь, любезный Въендемор, или как вас там зовут, вы можете свободно вздохнуть.

— Рауль Бонгле, любезный Альмарик!... — отвечал гость задушевым тоном. — Въендемор, то есть воскресший из

* Искж. араб. «мене, мене, текел, упарсин» или церковнослав. «мене, текел, фарес» (Дан. 5:25-28) — текст надписи, начертанной таинственной рукой на стене во время пира вавилонского царя Валтасара и предвещавшей гибель его царства.

мертвых, умер, умер навсегда. Но Рауль Бонгле будет жить, если будет угодно Богу и вам, будет жить счастливо, вместе с вашей дочерью, — прибавил он, подходя к дочери своего хозяина и протягивая к стыдливо покрасневшейся девушке руку.

— Эге, друг мой, — возразил, улыбаясь, Альмарик, — нельзя же так скоро... и старуха должна подать свой голос.

— О, мама уже знает об этом, — стыдливо заметила Августа.

— Вот как? Так это ты затеяла за моей спиной интрижку! — воскликнул отец притворно сердитым тоном. — Ах, прибавил он со вздохом, — кто поверит, как трудно уберечь молодую девушку!

— Я вот и хочу снять с вас эту заботу, любезный Альмарик, — шутливо отвечал Бонгле, — и думаю, что для меня это не будет так трудно!

— Ну, по мне пожалуй! — отвечал, смеясь, столяр, от души пожимая руку своему гостю, — ведайтесь как знаете с этим дичком.

.

Если путешественник, едущий на пароходе в Авиньон, взглянет, проехав старый каменный мост, на башню у Ронских ворот, то увидит на ней железную клетку. Еще 100 лет тому назад в ней лежала голова Ланглада. Время и камни, которые швыряли сюда дети, совсем разрушили ее. Но матери и до сих еще пор рассказывают своим детям об убийце, загубившем шесть душ, и о том, как один из убитых из могилы указал пальцем убийцу.



J. D. Langlade

assassin

*exécuté à Avignon
le 13 avril 1768.*

«Жан-Доминик Ланглад, убийца, казненный в Авиньоне 13 апреля 1768 года». Эстамп из собрания Национальной библиотеки Франции.

Комментарии

Роман Карла Ганемана «Мертвый палец» может показаться невероятным вымыслом, но это не так: книга документальна и основана на расследовании кровавого преступления, потрясшего Авиньон в 1768 году. О подробностях его повествуют две брошюры, написанные «по горячим следам» событий Франсуа Морена (Morenas), основателем газеты «Авиньонский курьер» – «Известие об ужасающем убийстве трех человек, зарезанных в Авиньоне Жаном-Домиником Лангладом» (1768) и «Исполнение приговора, вынесенного против Жана-Доминика Ланглада, называвшегося Дюбуром, родом из Ланжака в Оверни, колесованного живьем в Авиньоне 13 апреля 1768 года» (ок. 1768).

Мы не располагаем какими-либо сведениями о Карле Ганемане. С уверенностью можно сказать только одно – роман его, за исключением тех или иных художественных деталей, безусловно восходит к «Преступлению 1768 г. в Авиньоне». Эта беллетризованная версия событий в Авиньоне, подписанная «Э. Б...е», появилась в парижском «Журнале журналов» в 1844 г. и в том же году, в переводе на немецкий – в издававшейся в Праге газете «Богемия»; текст (без подписи) вошел также в книгу «Драматическая история знаменитых разбойников на море и на суше» (Париж, 1845).

Книга К. Ганемана публикуется по первому изданию (СПб., тип. Е. Евдокимова, 1888) с исправлением очевидных опечаток и некоторых устаревших особенностей транскрипции и стилистики. В тексте унифицировано написание имен, орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.